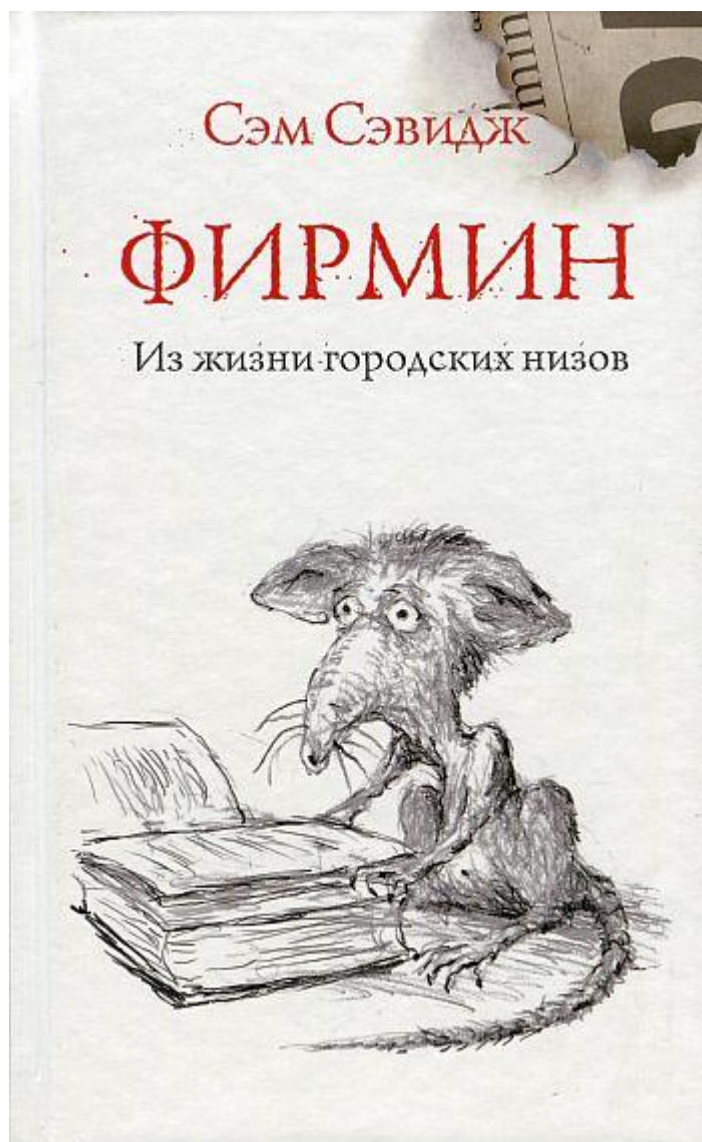


Сэм Сэвидж
Фирмин. Из жизни городских низов



Сэм Сэвидж
Фирмин. Из жизни городских низов

Посвящается Норе

Однажды Чжуань Чжоу заснул, и приснилось ему, будто он – бабочка и порхает себе без забот. 14 бабочка эта не знала, что она – Чжуань Чжоу во сне. Потом он проснулся, по всему судя, такой же, как прежде, но только теперь он уже не мог сказать: то ли он человек, которому снилось, будто он бабочка, то ли он бабочка, которой снится, что она человек.

Поучения Чжуань Чжоу¹

Если бы он вел дневник своих мучений, там было бы всего одно

¹ Чжуан Чжоу – китайский философ и поэт второй половины IV века до Р.Х. (здесь и далее прим. перев.)

слово: Я.

Филип Рот²

Глава 1



Мне всегда представлялось, что история моей жизни, буде и когда я ее напишу, начнется несравненной вводной строкой, эдаким чем-то таким лирическим вроде набоковского: «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел»; или, если на лирику не потяну, тогда чем-то забористым, как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Каждый помнит эти фразы, даже если начисто забыл, что там дальше в книге написано. Хотя, что касается первых фраз, по-моему, сто очков вперед всем прочим даст «Солдат всегда солдат» Форда Мэдокса Форда:³ «Это самая печальная история из всех, какие я слыхивал». Сто раз перечитывал, и все равно – мурашки по коже. Форд Мэдокс Форд – вот Великий писатель.

Всю мою жизнь борясь за возможность писать, ни за что я не боролся с таким нечеловеческим упорством – да-да, вот именно, что с нечеловеческим, самое что ни на есть верное определение, – как за такие вот вводные фразы. Мне казалось всегда, что, попади я тут в точку, остальное польется само собой. Первая фраза мне виделась некой такой словесной утробой, в которой роятся эмбрионы еще невыведенных страниц, посверкивая слитками гения, буквально задыхаясь от желания родиться. И из этого великого сосуда вот-вот брызнет, так сказать, весь роман. Роковое заблуждение! Все вышло с точностью до наоборот. Отличных вступительных фраз, собственно, у меня всегда было навалом. Посмакуйте хотя бы эту: «Когда ровно в три часа пополудни зазвонил телефон, Морис Монк, даже не успев поднять трубку, знал уже, что звонит ему дама, и знал еще кое-что: с дамами лучше не связываться». А? Или вот: «Перед самым тем мигом, когда его растерзали в клочья безжалостные солдаты Гамела, полковнику Бенчли привиделся милый беленый домик в Шропшире и в дверях миссис Бенчли с детишками». Ну? Или такое: «Париж, Лондон, Джибути – все это исчезло, как сон, как дым, когда он сидел среди остатков праздничного обеда по случаю очередного Дня благодарения с матерью, отцом и этим идиотом Чарлзом».

Кого оставят равнодушным такие слова? Они столь полны значения, столь насыщены смыслом, в них, можно сказать, прямо-таки вскипают ненаписанные главы – ненаписанные,

² Рот, Филип Милтон (р. 1933 г.) – знаменитый американский писатель. Ряд его романов переведен на русский язык.

³ Форд, Форд Мэдокс (1873–1939) – английский романист; роман «Солдат всегда солдат» (с подзаголовком «История страсти») опубликован в 1915 г., переведен на русский язык.

да, но вот же они, вот, тут как тут!



Увы, на поверку все эти фразы, все до единой, были мыльные пузыри, фантомы! Каждая из этих изумительных, столь многообещающих фраз была как коробочка в нарядной подарочной упаковке, зажатая жадной детской ручонкой, и в коробочке – ноль, пустота, ничего, кроме мелкой гальки и прочей дряни, а как она заманчиво брякает! Ребенок думает, что это конфеты! Я думал, это литература. Все эти фразы – и еще, кстати, много других – оказались не трамплинами для прыжка к великим ненаписанным книгам, а непреодолимыми барьерами к ним на пути. Понимаете – чересчур уж они были прекрасны. Недостижимо прекрасны. Иные писатели никак не дорастут до уровня своего первого романа. Я никак не мог дорасти до уровня своей первой фразы. Нет, постойте, но как вам это понравится? Нет, вы только полюбуйтесь, как я начал мой последний труд, мое творение: «Я всегда представлял себе, что история моей жизни, буде и когда...» О Господи, «буде и когда»! Ну! Видали? Полная безнадега. Вымарать.

Это самая печальная история из всех, какие я слыхивал. Начинается она, как все подлинные истории, неведомо где. Искать начала – все равно что пытаться обнаружить исток реки. Месяцами шлепаешь вверх по течению под палящим солнцем, продираешься сквозь сырые зеленые стены джунглей, и взмокшие карты расползаются у тебя под рукой. Тебя сводит с ума обманная надежда, изводит злобный рой насекомых, водит за нос неверная память, и всё, чего ты достигаешь в конце концов – ultima Thule⁴ всех твоих смехотворных потуг, – это мокрое место в джунглях или, в варианте романа, некое до совершенства бессмысленное словцо либо жест. И однако же, в какой-то – более или менее произвольной – точке на пути между мокрым местом и морем, картограф ставит кружок, и здесь начинается Амазонка.

Точно то же и со мной происходит, картографом душ, когда выискиваю начало собственной биографии. Закрываю глаза и тычу наугад. Глаза открываю и вижу – трепещущий миг, замкнутый кружком: три часа семнадцать минут пополудни тринадцатого апреля 1961 года. Напрягаю взгляд, внимательно всматриваюсь. Ах, как мило, ах, как четко, кто у нас без подбородка? А это я, весь как есть, – верней, весь как был, – собственной персоной, осторожненько высунувший из-за края балкона кончик носа и один глаз. Балкон этот был несравненным местом для наблюдателя, для сторожкого, тайного соглядатая вроде меня. Оттуда мне открывался весь магазин внизу, притом что сам я был недоступен ни единому устремленному снизу взгляду. В тот день в магазине толпился народ, куда больше покупателей, чем обычно в будни, и кверху уютно взмывал рокот голосов. Стоял прелестный весенний денек, иные из этих людей вышли, может быть, прогуляться, когда их насторожило и привлекло большое, от руки написанное объявление в витрине: «На все покупки свыше 20\$ скидка 30 %». Конечно, я не мог осознать этого толком, то есть не мог осознать, что именно

⁴ Крайний предел (лат.).

заманило их в магазин, ибо, не имея еще должного опыта, не разбирался в покупательной способности доллара. Кстати, и балкон, и магазин, и даже весна требуют пояснений, требуют отступлений, однако, при всей их насущности, они бы нарушили темп моего повествования, который, смею надеяться, у меня стремительный. Впрочем, кажется, я чересчур забежал вперед. Поторопившись взять быка за рога, я, видимо, перегнул палку. Положим, нам не дано разглядеть, где начинается история, но порой нам беспощадно ясно, где никоим образом не начало, не исток, ибо во всю ширь разлилась уже река.

Закрываю глаза, снова тычу. Расправляю трепещущий миг, распиная, как бабочку на булавке: час сорок две минуты пополудни. 9 ноября 1960 года. Было сыро и холодно в Бостоне, на Сколли-сквер, и бедная, наивная Фло – которую скоро назову Мамой – нашла прибежище в подвале одного магазина на Корнхилл. С перепугу она как-то умудрилась протиснуться в самую глубь невообразимо узкой щели между большим металлическим цилиндром и бетонной подвальной стеной, и там она затаилась, дрожа от страха и холода. Сверху, с уровня улицы, слуха ее достигали несущиеся через площадь крики и смех. На сей раз они ее чуть не настигли – те пятеро, в матросской форме, топавшие, пинавшие, и они орали как бешеные. Она кидалась зигзагами, туда-сюда, рассчитывая их одурачить, в надежде столкнуть их лбами, – и тут блестящий черный башмак так ее саданул под ребра, что она полетела через весь тротуар.

Но как же она спаслась?

А как мы всегда спасаемся. Чудом: тьма, дождь, щель в двери, неверный шаг преследователя. «Преследование и спасенье в старейших городах Америки». Подхлестываемая паническим страхом, она сумела забежать за гнутую металлическую штуку, туда, куда доходил только очень слабый подвальный свет, и там она съежилась и надолго затихла. Закрывая глаза на боль в боку, она все мысли сосредоточила на дивном тепле, которое медленно, как прилив, ее омывало. Металлическая штука была восхитительно теплой. Дивно гладка была эмалевая поверхность, и бедная Фло к ней прижалась дрожащим телом. Возможно, она прикорнула. Да, я совершенно уверен, она прикорнула, и проснулась она освеженной.



И тогда уже, испуганная, робеющая, она, очевидно, вышла из своего укрытия в комнату. Лампа дневного света, вися на двух крученых проводах и слегка жужжа, синеватым, подрагивающим сиянием одевала ее среду. Ее среду? Не смешите! Мою, мою среду! Потому что вокруг, куда бы она ни глянула, были книги. От пола до потолка, по каждой стене и по обе стороны от невысокой, человеку по пояс, перегородки, надвое делившей комнату, стояли ломившиеся от книг некрашенные деревянные полки. Еще книги, главным образом тома потолще, были втиснуты плашмя над рядами, еще другие ступенчатыми пирамидами поднимались с пола или неверными скирдами, рыхлыми стогами громадились на перегородке. Сырое, теплое местечко, где нашла она прибежище, было книжным склепом, мавзолеем забытых сокровищ, кладбищем нечитанного и неудобочитаемого. Старинные, оплетенные кожей важные тома, заплесневелые, потрескавшиеся, стояли плечом к плечу с бодренькими книжками, чьи желтоватые страницы успели тем не менее потемнеть и обшарпаться. Детективов Зейна Грея⁵ тут были горы, пруд пруди было грозных проповедей, тьмы и тьмы старинных энциклопедий и несчетные россыпи мемуаров времен Великой войны, замшелых памфлетов с выпадами против Нового курса, руководств и учебников для Новой Женщины. Но Фло, конечно, не

⁵ Грей, Зейн (1872–1939) – популярный в свое время американский писатель, автор множества вестернов.

понимала, что всё это книги. «Приключения на планете Земля». Приятно себе представить, как она осматривается на незнакомом ландшафте, – так и вижу ее милую усталую физиономию, округлое тело, затравленно посверкивающие глазки и дивную манеру морщить нос. Порой, просто так, шутки ради, на нее надеваю синенький скромный платочек, завязываю под подбородком – ну не прелестно ли? Мама!

В одной стене высоко-высоко были два оконца. Стекла дочерна потемнели от сажи, почти не пропускали света, и она вполне логически могла заключить, что еще ночь. Но, с другой стороны, она слышала нарастающий гул уличного движения и по долгому опыту не могла не сделать из этого вывода, что вот-вот начнется новый трудовой день. Магазин наверху откроют, того гляди люди повалят в подвал по крутым ступеням. Люди, мужчины скорей всего, громадные ножищи, громадные башмаки. Бамм. Надо было спешить, и – теперь уж пора сказать без обиняков – не потому, что она не слишком горячо мечтала о новой встрече с матросами, чтоб они ее шпыняли, пинали, а то и похуже. Надо было спешить из-за великой вещи, свершавшейся у нее внутри. Ну, не то чтобы именно из-за вещи, хотя вещи как раз в ней были (числом тринадцать), сколько из-за процесса, из-за некоего происшествия, которое люди, со свойственным им колоссальным чувством юмора, называют Счастливым Событием. Счастливое Событие вот-вот должно было свершиться, тут не могло быть вопроса. Единственный вопрос – для кого это было Счастливое Событие? Для нее? Или для меня? Кому тут счастье привалило? Ведь чуть ли не всю свою жизнь я твердо знал: кому угодно, только уж не мне. Но оставим меня в стороне – о, если бы я только мог! – и вернемся к положению в подвале: Великое Событие надвигалось, и вопрос был один – что с этим делать бедняжке Фло?



Итак, расскажу вам, что она с этим сделала.

Она облюбовала книжную полку, самую близкую к пещере за теплой металлической штукой, и вытянула оттуда самую большущую книгу, какую только могла прибрать к лапам.

Вытащила, открыла и, придерживая ногами страницу, вырвала ее и изодрала зубами на конфетти. Так же точно поступила она и со второй страницей, и с третьей. Но я уже угадываю ваш скепсис, ваше недоверие. На каком основании, слышу ваш ехидный голосок, я сделал вывод, что она выбрала самую большущую книгу? Ну, это уж, как не устает повторять Дживс,⁶ вопрос психологии индивида, каковым в данном случае является Фло, моя потенциальная мать. «Округлая» – так я ее, кажется, описал? Это, положим, чересчур мягко сказано. Она была омерзительно тучная, и как раз ежедневная каторга по накоплению всего этого жира и сделала ее кошмарно нервной. Нервной и просто, извините за выражение, свиньей. Побуждаемая алчностью миллионов насытых клеток, она вечно, бывало, схватит самый большой кусок, даже если уже набита едой под завязку и в состоянии только обкромсать его по краям. Ну, для всех других испоганит, конечно. Так что, будьте уверены, она растерзала самый большущий том, какой оказался у нее в поле зрения.

Порой мне лестно думать, что первые минуты моей борьбы за существование, как триумфальным маршем, сопровождалась треском раздираемого «Моби Дика». Не оттого ль моей натуре присуща столь отважная страсть к приключениям? А в другие часы, когда особенно остро ощущаю себя отверженным, нелепым, сумасбродом, я убежден, что жертвой

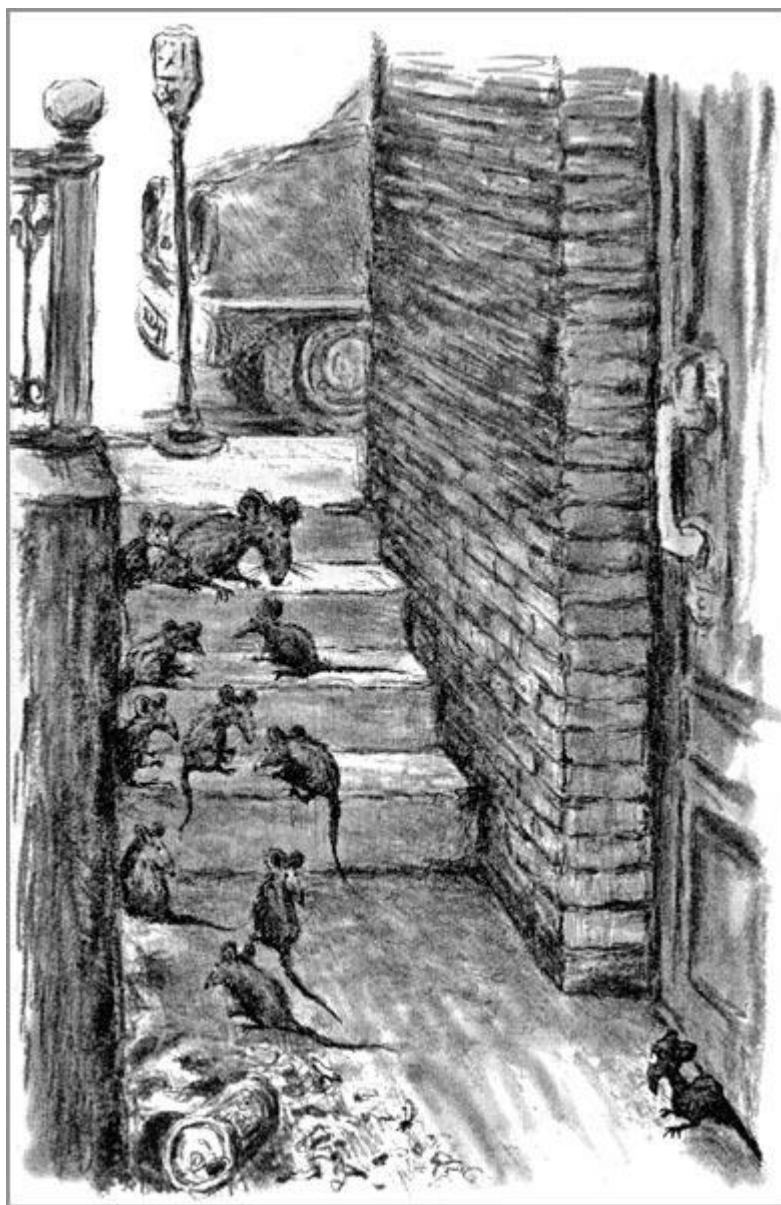
⁶ Один из двух главных героев в серии юмористических романов (о Берти Вустере и его слуге Дживсе) английского писателя Пелэма Гренвила Вудхауза (1881–1975). Многие романы экранизированы и переведены на русский язык.

был «Дон Кихот». Вы только послушайте: «Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до вечера; и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он вовсе потерял рассудок. (...) И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже необходимым, как для собственной славы, так и для пользы отечества, сделаться странствующим рыцарем».⁷ Поглядите-ка на Рыцаря Печального Образа. Представьте: дубина стоеросовая, шут гороховый, наивный до слепоты, сентиментальный чудак, восторженный идеалист, просто умора, – ну кто это, как дважды два, если не ваш покорнейший слуга? По правде говоря, я никогда не мог похвастаться особенно здравым рассудком. Только я не борюсь с ветряными мельницами. Я – хуже: мечтаю о борьбе с ветряными мельницами, томлюсь по борьбе с ветряными мельницами, порой даже рисую в воображении, как они вызваны мною на бой. Ветряные мельницы, жернова культуры, или – скажем честно – самые вожаемые из неодолимых целей, эротикомолы, эти млеющие мельнички похоти, плотские фабрички соблазна, поля грез презренных прелюбодеев – тела моих Прелестниц. А-а, да какая, в сущности, разница? Безнадежное дело есть безнадежное дело. Впрочем, пока не буду в этом погрязать. Еще успею погрязнуть.

Мама воздвигла огромную бумажную гору и с великим трудом ее затолкала, переволокла в ту маленькую пещеру за круглой штукой. Однако же мы не позволим горестной какофонии ее мощных всхрипов и всхлипов отвлечь нас от фундаментального вопроса: откуда ведет свое происхождение вся эта бумажная гора? Чьи скомканые слова и рванные фразы сбила Мама в неудобочитаемую смесь, которая миг спустя смягчит удар моего погружения в бытие? Напрягаю глаза. Темным-темно в этом месте, куда она бумагу перетащила, а теперь утаптывает посередине, взбивает по краям, и, лишь нагнувшись над бездной, могу отчетливо разглядеть мгновение, когда родился. Смотрю с большой высоты, складывая изображение телескопом. Угу, по-моему, вижу. Да-да, теперь точно узнаю. Милая Фло пустила на конфетти «Поминки по Финнегану». Джойс – великий писатель. Возможно, самый великий. Я был рожден, взлелеян и вскормлен на безлистных останках самого во всем белом свете нечитаемого шедевра.

У нас была большая семья, и скоро мы, все тринадцать, прилюлились в его струинах, говоря его же языком, комкуясь, чин зван навзничь, в поисках молока. (Столько лет уж прошло, а вот я – все тот же, все так же комкуюсь, кучкуюсь в поисках молока, в поисках крох. О мечты!) Скоро все мы дружно бросились в драку за двенадцать сосков: Хрюни, Пупик, Льювенна, Финни, Хват, Плюх, Пи-пи, Пуддинг, Элвис, Элвина, Хемфри, Душка и Фирмин (это я, тринадцатое дитя). Всех, как сейчас, помню. Все гиганты. Хоть слепые и голые, может, даже и в особенности оттого, что голые, они прямо взбухали мышцами, мускулами – или мне так тогда казалось? Я один родился с широко открытыми глазами и скромно облаченный в мягкий серый мех. И еще я был хилый. И уж поверьте моему слову: быть хилым просто ужасно, когда ты маленький.

⁷ Мигель де Сервантес. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». (Пер. Н. Любимова.)



Особенно губительно это обстоятельство сказывалось на моей способности на равных участвовать в ежедневном кормлении, которое происходило приблизительно так: Мама вваливается в подвал – неизвестно, где ее перед тем носило, – в обычном своем репертуаре: настроение самое гнусное. Стеная и жалуясь, будто сейчас совершит такой героический подвиг, о каком ни одна мать от сотворения мира не смела и помышлять, она плюхается на постель и мгновенно засыпает, раззяв рот и храпя, абсолютно глухая к разбуженному ею хаосу. Царапаясь, толкаясь, кусаясь, визжа, мы, все тринадцать разом, кидаемся на двенадцать сосков. Молоко и мечты. Из этой игры я почти всегда вылетал, выбывал. Порой так и думаю о самом себе – Тот, Кто Выбыл из Игры. Н-да, найдешь формулу – и как-то оно легче. Но, если мне вдруг случалось оказаться хоть бы и самым первым, скоро меня все равно оттеснял кто-нибудь из более дюжих братишек или сестричек. Чудо еще, что мне удалось живьем выйти из такой семьи. Собственно, выжил я в основном на остатках. И сегодня даже, стоит только вспомнить, и живо чувствую – ужас! – как сосок мажет меня по губам и ускользает, пока меня оттягивают за задние ноги. Говоря об отчаянии, обыкновенно поминают пустоту внутри, холодные руки-ноги, озноб, для меня же оно навсегда свяжется с ощущением ускользающего изо рта соска.

Но что это такое я слышу? Молчание? Смущенное молчание? Вы теребите себя за подбородок, вы думаете: «А-а, ну теперь с ним все ясно. Этот тип свою никчемную жизнь без остатка убил на поиски тринадцатой сиськи». Ну что мне вам на это сказать? Униженно согласиться? Или протестовать, орать: «Так уж и все? Действительно все?»

Глава 2



Каждый вечер Мама нас бросала и потихоньку выбиралась на площадь, «наверх», как у нас это называлось, за пропитанием. Округа в те поры была прямо-таки создана для фуражировки. Когда запирались на ночь бары и забегаловки, народ по большей части предпочитал все швырять прямо на тротуар. Среди бумажных пакетов, гнутых пивных банок, мятых пачек из-под сигарет попадалось и много чего питательного, порой даже непечатые блюда. Вдобавок Бостонская управа ополчилась на низы общества, к числу которых в те дни относилось, собственно, все население округи, и перестала убирать мусор, чтоб им насолить. Водостоки, канавы и ямы ломились от харчей, и приходилось следить внимательно, куда ставишь ногу.

Мама отсутствовала, как нам казалось, целую вечность, и мы возились и носились во тьме, хоть нам бы следовало вести себя поскромней, не будучи законными квартиросъемщиками. Мы были, в сущности, нелегалами, хотя, учитывая, что здесь все и вся, книжный магазин, бары и забегаловки, даже баки с отбросами вовсю уплывали к забвению, а мы как бы увязались вслед, точнее было бы нас назвать безбилетниками. Но тогда мы об этом не знали, я имею в виду – о пути к забвению. В таком возрасте все кажется вечным.

Час проходил за часом, мы буквально сходили с ума от голода и вот наконец услышали, что она вернулась. Нам полагалось вести себя тише воды, ниже травы, а Мама шла по лестнице со скрипом и грохотом.

Впрочем, ладно уж, чего греха таить, пора признаться, положила лапу на сердце, что Мама была в некотором роде пьянчуга. Потому-то, а еще из-за своей необъятной талии она даже и при всем желании никак не могла бы идти по лестнице тихо. В те поры в нашей округе вы легко могли нализаться из любой лужи, а Фло отнюдь не принадлежала к числу тех, кто сам себе ставит препоны на пути соблазна. Такая девушка была. И такая была округа. И, стало быть, она всегда возвращалась домой очень даже подшофе, чем, возможно, и объясняется ее способность мгновенно отключаться посреди любой толкотни и свалки, любого визга. Раз – и захрапеть, такова была Мама. Мало ли у кого родители – позорные пьяницы, подумаешь, дело большое, но, оглядываясь назад, я вижу, что именно в моем случае это было как раз исключительно счастливое обстоятельство, которое, быть может, буквально спасло мне жизнь. «Светлая сторона алкоголизма; рассказ дитяти». Ко времени возвращения домой после своих экскурсий наверх она обычно бывала такая хорошенькая, что от ее молока аж голова кружилась. Не у меня, конечно. Я, обреченно оказываясь не у дел, лишь скорбно наблюдал, как остальные сопят и урчат, поглощая великолепный состав, который она принесла с улицы, состав, который непременно бы загорелся, окажись рядом искра. В конце концов, однако, высокоградусное питье оказывало на моих сестричек и братьев тот же эффект, что на Маму, и один за другим они отключались, выпуская соски из своих розовых ртов. К этому времени алкоголь, конечно, успевал поыветриться из Фло, из

сосков текло уже чистое молоко. А мне оставалось только, перелезая через ряды сонных маленьких пьяниц, опустошать один сосок за другим до последних сладостных капель. Никогда я не наедался досыта. Но зато я, пусть и кое-как, но остался жив – почувствуйте разницу.

Мне уже незачем склоняться над бездной своего рождения, чтобы видеть Маму. Просто ложусь навзничь на конфетти, воздев обожаемые розовые ножки, и любуюсь ее громадой.

Частенько я повторял это удовольствие. И все равно от образа Мамы, не считая ее массивности, мне ничего не осталось – только мутное, расплывчатое пятно. Напрягаю зрение, вытаскиваю мой телескоп, настраиваю, настраиваю – нет, почти ничего не видать.

Когда думаю о Маме того времени, ничего не приходит на ум, кроме слов. Напрягаю внимание, до того напрягаю, что вот-вот плюхнусь в обморок, и – опять ничего, только это неясное пятно и слова – сисек не хватило, – да еще густая вонь опилок с пивом, как от пола в пивной.



Не имея возможности много вращаться в реальном свете, я, однако, много путешествовал в воображении, то туда, то сюда пуская вольную мысль. Однажды во время таких вылазок я повстречал в одном баре одного человека, который мне рассказал, как мальчишкой жил в Берлине в конце войны. Надо думать, Второй мировой. Город, разбомбленный вдрызг, выглядел так же примерно, как будет выглядеть Сколли-сквер подальше в моей истории, и была зима, было холодно и нечего есть. В его доме, в том, что от дома осталось, было темным-темно, холодно, и мальчишка чуть ли не все время сидел, пригревшись у залитой солнцем стены. Сидел так ежедневно, часами, и мечтал о еде. На улице перед домом, перед самым домом, там, куда угодила бомба, была большая воронка.

Отчасти ее заделали, но яма осталась, и однажды катил по той улице груженный углем грузовик. Водитель не заметил кратера вовремя, грузовик на него наехал – бамм. Кошмарно трянуло, накренило, из кузова вывалило массу угля. Но грузовик не остановился. Завернул за угол и на миг оставил по себе безлюдную, солнечную, заваленную углем улицу. Небольшой уголек подкатил прямо к ноге мальчишки. А потом вдруг разом, как по сигналу, пораспахивались все двери, мужчины, женщины, больше женщины, повысыпали на улицу. Мальчишка потрясенно смотрел, как они хватали куски угля, рассовывали по корзинам, по передникам, даже из-за них дрались. Он наступил на уголек, который лежал на земле с ним рядом, выждал, когда народ разоидется восвояси, и уж тогда его сунул себе в карман. По поведению этих женщин он заключил, что уголек – безумно ценная штука, хотя понятия не имел, что же это такое. Потом он зашел за угол, вынул уголек из кармана и попробовал съесть.

А в этой самой Африке, когда голод, несчастные дети землю едят. Изголодаешься хорошенько, что угодно сожрешь. Само по себе жевание, глотание хоть и не насыщает тела, зато питает мечты. А мечты о жратве, они ведь, известно, как всякие другие мечты, – ими ты можешь питаться себе на здоровье, пока не сдохнешь.

В подвале книжного магазина, где мы поселились, угля не было и в помине, даже грязи истинной не было. Правда, пыли было вволю, но единой пылью сыт не будешь. Да и как ты ее станешь есть, эту пыль, если она липнет к нёбу, не проглотишь. Зато у бумаги, я очень рано это постиг, прелестная осязаемость, плотность, а в некоторых случаях и довольно изысканный вкус. Жуй себе, если хочешь, часами, как жвачку. Отстраняемый своими мускулистыми родичами, горестно убивая время, тщетно пытаясь заполнить сосущую пустоту в животе грезами о роскошных пирах, я стал жевать конфетти у себя под ногами.

Несмотря на очевидный факт, что я тогда едва вышел, так сказать, из пеленок, я

полагаю правильным назвать тот момент для себя началом конца. Как многое другое, начинающееся с мелких запретных усад, жевание бумаги скоро вошло у меня в привычку, настоящую потребность, а потом стало прямо зависимостью, смертным голодом, утоление которого было столь сладостно, что часто, когда и освободится сосок, я не спешил на него бросаться. Нет, бывало, стою себе и жую, куда масса во рту не обратится тончайшей пастой, и я ее прижимаю к нёбу, леплю языком так и сяк и потом только благополучно глотаю. К сожалению, жеваная бумага оставляет во рту липкое послевкусие, и оно долго не проходит, что и породило у меня неприятную, прямо скажем, манеру – чмокать губами.

Начал я исподволь, так, кусну там и сям, но почти сразу меня понесло, и, не успев оглянуться, – умял такую существенную часть общей постели, что сквозь нее во многих местах стал просвечивать голый бетон. Это повело к моим нескончаемым распрям с родней, и несколько раз мне даже крепко досталось, но меня это не остановило. Я умею быть очень решительным, когда захочу.

В конце концов, чтобы прекратить дразги, Маме пришлось снарядиться за новой порцией страниц Великой книги и притащить их в наш уголок. Мы теперь уже подросли и дружно участвовали в разрывании. Визжа от восторга, мы мстительно дергали, драли. Ничто так не сближает, не создает такого теплого чувства товарищества, как разрушение, и на несколько минут в этой свалке мы поистине себя ощутили большой счастливой семьей. Когда меня просят что-нибудь рассказать о детстве, я всегда предъявляю этот эпизод – просто, чтоб доказать, что мы были как все.

Что и говорить, новый приток бумаги, и вдобавок свежей, на которой никто еще не писал, не какал, отнюдь не укротил моего аппетита, и я, надо думать, слопал уже целые главы Великой книги к тому времени, когда неуверенно вышел на подрагивающих на своих четырех из темного угла в широко мерцающий мир. Убежден, что эти изжеванные страницы заложили питательный фундамент, – даже, не исключено, прямо вызвали к жизни то, что скромно назову моими выдающимися умственными способностями. Только представьте себе: история мира в четырех частях, обрывки философии, психоанализ, лингвистика, астрономия, астрология, сотни рек, народные песни, Библия, Коран, Бхагават-гита, Книга мертвых, Французская революция, Русская революция, сотни насекомых, дорожные знаки, уличные объявления, Кант, Гегель, Сведенборг, комиксы, детские считалки, Лондон и Фессалоники, Солом и Гоморра, история литературы, история Ирландии, обвинения в несказанных преступлениях, признания вины, отрицания виновности, тысячи каламбуров, десятки языков, рецепты, шутки ниже пояса, болезни, деторождения, казни – всё это и много чего еще я вобрал в себя. Вобрал в себя, признаю, по куда был недостаточно подготовлен. Помню живо, прямо кишками помню, как, еще маленький, корчусь в темном углу на постели из драной бумаги – грядущих блюд – и, обхватив карикатурно вздутый живот, постанываю от боли. Ох, какая мука! – когда длинные, разрастающиеся, непроваренные куски впитываются в мое содрогающееся нутро. До сих пор не могу понять, как эта повторяющаяся попытка навеки меня не отвadiла от жевания бумаги. Но нет – не отвadiла. Приходилось только пережидать, пока уймется боль, чтобы все начинать сызнова, но порой я не выдерживал, даже это было мне не под силу.

Что я слышу? Хихиканье? Вы, наверно, во всем этом усмотрели всего лишь вульгарный случай зависимости, ну или плачевные симптомы классического маниакально-навязчивого состояния, и, без сомнения, вы правы. Однако концепт зависимости недостаточно ёмок, недостаточно глубок, чтобы адекватно описать мой голод. Я скорей применил бы здесь термин «любовь». Неосуществленная, да, пожалуй, извращенная даже, и уж конечно безответная, но однако ж – любовь. То было робкое, вязкое начало страсти, которая определила всю мою жизнь, кто-то скажет – загубила, и я, возможно, не стану спорить. Будь я поискусенней в этих ужасных кишечных болях, следовавших за проявлениями моей страсти в ее инфантильных формах, я конечно, распознал бы знак, предупреждение, предвестие нескончаемых мук, какие всегда, кажется, с собою несет любовь.



При ежедневном вкушении (а в моем случае даже и непрерывном, если включать и чмокание, вызванное липким послевкусием) в конце концов приедается все, даже самое изысканное блюдо. Мне совестно в этом признаться, но – время шло, и Великая книга постепенно утрачивала свое очарование и неотвратимо скатывалась к пресности, делалась все безвкусней, скучней, ну просто, ей-богу, уже смахивала на картон. Пора было менять диету. Вдобавок я устал от тумачков.

И вот в один прекрасный день я решил порвать с семьей и перенести свое жевание на стеллажи. Впервые я на это отважился как-то воскресным утром. Магазин наверху был еще закрыт, уличное движение почти совсем не вплетало своих отдаленных нот в хоровой храп одурманенного семейства. Я скользил по проходу, который вел из нашего уютного уголка к мерцанию пространства, носом в пол, и первое же, что попало мне на пути, была распростертая по цементу сама Великая книга, верней то, что от нее осталось. Я сразу ее опознал по запаху. Концентрированный многолистый дух этих плотно сброшюрованных сотен страниц во мне вызвал легкую тошноту. *Сила гения.* Я оглядел остальные книги на нижней полке, откуда Мама вытащила этот том, и заметил, что с легкостью разбираю названия. Очевидно, в столь уже раннем возрасте я страдал катастрофическим даром лексической гипертрофии, который затем столь грозно изухабил уготованную мне, быть может, благополучно-ровную, торную тропу заурядно-мирного существования. Над этими полками была бумага с выведенными от руки словами ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, и грубая синяя стрелка указывала прямо вниз. В последующие дни и недели я продолжал исследовать местность и обнаружил другие стрелки, указывающие на ИСТОРИЮ, РЕЛИГИЮ, ПСИХОЛОГИЮ, НАУКУ, УЦЕНЕННЫЕ КНИГИ и КЛОЗЕТ.

Я решительно считаю этот период началом своего образования, пусть тяга, вытолкнувшая меня из родимого угла в большой свет, и не была еще жаждой знаний в полном смысле слова. Начал я с ближних полок, под стрелкой ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, я лизал их, покусывал, смаковал и наконец объедал, иногда по краям, но обычно, если только удастся отпахнуть переплет, сверлом вгрызался в сладкую серединку. Больше всего мне пришлось по вкусу издания Современной Литературы, я всегда, когда только мог, выбирал что-нибудь оттуда, – впрочем, возможно, меня приманивал логотип – бегун с факелом. Порой я сам себя представлял таким Бегуном с Факелом. И каких только, господи, не открыл я для себя книг в те первые пьянящие дни! Даже сегодня, стоит только перечислить названия, и меня душат слезы. Вот, декламируйте, повторяйте за мной вслух, медленно, с чувством, с расстановкой, и у вас сердце зайдет. «Оливер Твист», «Гекльберри Финн», «Великий Гэтсби», «Мертвые души», «Мидлмарч», «Алиса в Стране Чудес», «Отцы и дети», «Гроздь гнева», «Американская трагедия», «Питер Пэн», «Красное и черное», «Любовник леди Чаттерлей».



Сначала это были грубые оргии, я лопал неразборчиво, как свинья, – полный рот Фолкнера, по мне, был точно то же, что полный рот Флобера, – но скоро я стал замечать тонкие различия. Прежде всего я заметил, что каждая книга имеет свой вкус – сладкий, горький, кислый, кисло-сладкий, протухлый, соленый, терпкий. И еще я заметил, что вкус каждой книги, – а по мере того, как время шло и чувства мои обострялись, – вкус каждой страницы, каждой фразы, каждого слова даже – влечет за собой летучую гряду образов, умственных представлений о вещах, мне совершенно незнакомых по скромному, очень скромному опыту в так называемой реальности: небоскребы, гавани, кони, каннибалы, яблоня в цвету, незастланная постель, утопленница, мальчик, разбежавшийся для прыжка, отрубленная голова, косари в поле, подняв глаза вверх, вслушивающиеся в рев какого-то идиота, свист паровоза, река, паром, шалаш в джунглях, умирающий монах, и солнечный луч вкось рассекает рощу, и смуглую ляжку гладит задумчивая рука.

Сперва я просто жрал, блаженно глодал и жевал, подчиняясь велениям вкуса. Но скоро я начал почитать там и сям, по краям моих блюд. И с течением времени я читал все больше, жевал все меньше, так что в конце концов я уже читал все часы своего бдения напролет, читал запоем, а пасся только на полях. И как часто теперь я скорбел над ужасающими дырами! В некоторых случаях, когда не было другого экземпляра, приходилось ждать годами, чтоб восполнить пробел. Да, тут хвастаться нечем.

Теперь, побитый и потрепанный жизнью, как часто я оглядываюсь назад, на годы моего детства, надеясь в них найти подтверждение тому, что мне был назначен иной, более высокий жребий, что хотя бы на время я мог стать кем-то еще, не фигляром и дилетантом, что загубили меня неумолимые внешние обстоятельства, а не мои внутренние изъяны. Пусть лучше скажут: «Да, Фирмин, не повезло», а не: «На что же ты и рассчитывал?» Напрягаю глаза, настраиваю телескоп, но, увы, он не выхватывает божественного озарения, не увеличивает хоть бы нескольких искорок гения, ничего, ничего-то он не обнаруживает, кроме неразборчивости в еде. Да что телескоп! Того гляди, доктора повытаскивают свои стетоскопы, свои электроэнцефалограммы, свои осциллографы, и все для подтверждения сокрушительного диагноза: банальнейший случай библиобулимии. И что самое ужасное – *они будут правы*. И перед лицом этой их правоты, унижительной очевидности их сокрушительного приговора – сокрушительного, какое дивное слово! – хочется крикнуть себе самому, как кричал старик Эзра Паунд, запертый в своей Пизанской крысиной клетке: «Смири свое тщеславие, смири, тебе говорят». Паунд, он был Великий.

Ну да ладно, хватит. Тогда, совсем маленький, я понятия не имел о подобных муках. Тогда, мостясь на самой нижней ступеньке общественной лестницы, все равно я был щедро взыскан дивной судьбой, играл – не знал печали, и в книжном магазине прошли мои счастливейшие дни. Или, лучше сказать, мои счастливейшие ночи и воскресенья, ибо я не смел выйти в мерцающий простор, когда в лавке толклись покупатели. Из своего темного подвального убежища мы слушали гул голосов, скрип шагов по потолку. Слушали и дрожали. Иногда шаги уходили с потолка и спускались в наш подвал по деревянным ступеням. Обычно после этого спуска ненадолго наступала тишина, но порой он сопровождался криканьем, кряхтеньем, оханьем и стонами, даже какими-то необъяснимыми взрывами, которые ужасно нас пугали. После чего слышалось урчание воды, а потом шаги снова поднимались по лестнице. Топот шагов, поднимавшихся наверх, никогда не был так громок, как нисходящий топот.

Глава 3



Однажды ночью, рыская под стрелкой УЦЕНЕННЫЕ КНИГИ, я обнаружил грубую дыру в кладке там, где большая черная труба выходила из стены. Она проползала по полу и юркала в супротивную стену под стрелкой КЛОЗЕТ. На этой стене полوك не было, только дверь, и всегда закрытая притом. Я сунул нос в дыру и принюхался. Пахло крысами. Труба входила в стену, потом сворачивала, а дальше шла прямо вверх. Хотя и очень большая, труба не заполняла всю для нее заготовленную дыру, и кладка вокруг была рваная, зубчатая. Я тогда ужасно был любопытный, да и запах не сулил беды, хоть и был не совсем тот, что родной, знакомый, привычный крысиный запах. Как-то скучнее, что ли.

Налегая спиной на трубу, ставя ноги по сторонам дыры, я подтянулся кверху, используя, как ступени, зубцы в кладке. Подняться оказалось раз плюнуть. Наверху, на уровне, соответственном плинтусу первого этажа, туннель разветвлялся. Одна дорога вела прямо вверх по трубе, другие сворачивали – вправо и влево по низу стены, между штукатуренной дранкой и наружной кладкой. В ту ночь я пошел налево. На следующую – пошел направо. А через неделю у меня в голове была уже детальная карта всей системы. Все здание сплошь прорезали такие туннели – обратив его как бы в медовые соты, в некий сложно петляющий лабиринт. Если б не спешка – время, увы, поджидает, – тут бы мне и пуститься в бесконечные описания всей системы туннелей, созданных, очевидно, совокупным трудом тысяч и тысяч крыс задолго до моего появления на свет, неустанно стачивавших упрямые резцы, дабы я, Фирмин, некогда смог достичь незамеченным любой точки строения. О, я бы вам прожужжал уши, рассуждая о разрезах открытых работ, скрейперах, грейлерах и черпаках, о том, что такое выработки, пласты и какая разница между шлихом и шлифом, штреком и треком, а если бы кто-то еще не уснул, я бы его попотчевал ковшами экскаватора, нисходящими сбросами и лежащими желобами. Тех, кого греют подобные прелести, отсылаю к учебникам по горному делу.

Сперва я за каждым поворотом думал нос к носу столкнуться с крысами, строителями этих катакомб, но так ни одной и не встретил. Наконец я их назвал про себя «дела давно минувших дней». И еды никакой нигде я не обнаружил. Потому-то, возможно, и крыс совсем не осталось. Перед тем как сделаться книжным магазином, дом служил, видимо, бакалеей, может быть, булочной. Теперь тут, кроме бумаги, нечем было поживиться. Однако мои упорные разыскания, ночь за ночью, по бесконечным, как казалось мне, милям туннеля увенчались наградой, которая мне лично была дороже любой еды. Учтите, дорога в интрамуральном пространстве абсолютно темна. У меня отличное ночное зрение, но здесь пришлось пробираться исключительно ощупью и по нюху. Работа долгая, кропотливая, и много ночей прошло, прежде чем я наконец напал на стремнину, которая меня и вынесла прямо на потолок главной комнаты магазина. Здание, как и большинство зданий в нашей округе, было дико старое, без переборок в потолке, и каждая пара стропил как бы образовывала внутри длинную открытую ячейку, невообразимо жаркую и пыльную. Мои упрямые резцы проедали в стропилах аккуратные круглые дыры, и посредством этих дыр я мог перебираться из ячейки в ячейку. Я держал путь в сторону улицы, каждую ячейку тщательно исследовал носом и лапами перед тем, как двинуться дальше, но вот я наткнулся

на что-то столь неожиданное, что просто опешил и даже попятился. После недели ночных трудов в чернильной тьме вдруг я увидел, как сквозь пол снизу, из магазина, бьет струя света. Некогда, давным-давно кто-то – не крыса – проделал в потолке магазина круглую дыру для светильника, а повесили этот светильник чуть-чуть не в центре, оставив по краю узкую серповидную щель. Осторожно заглянув в эту щель, я увидел внизу комнату.



Прямо подо мной стоял заваленный бумагами письменный стол и кресло с красной подушечкой. За этим столом в этом кресле сидел Норман, то есть обычно сжививал. Я не знал еще Нормана – на какое-то время он рассядется у меня в голове просто Хозяином Письменного стола, – но хаос на этом столе, вертикально проткнутый по центру стальной спицей, сплошь поросшей вялой листвою квитанций, сверкающие ручки кресла и, главное, красная подушечка с вмятиной от задницы посерединке – все было овеяно таким ореолом строгости и величия, который меня – что вполне объяснимо, учитывая мое происхождение, – буквально потряс.

И вот щель в потолке в виде буквы С стала моим любимым местечком. Окно в мир людей, первое мое окно. В известном смысле тоже, можно сказать, книга: тоже помогает заглянуть в иные, отличные от твоего собственного, миры. Это место я назвал Воздушным шаром – смотришь вниз и будто паришь, плывешь на воздушном шаре над комнатой. А несколько дней спустя я обнаружил новое, тоже чудесное местечко в прямо противоположном конце потолка, ближе к улице. То была зубчатая щель, зазор, там, где утыкалась в потолок кустарная перегородка. Через эту щель я мог пролезать вниз, на один из застекленных шкафов, где Норман держал редкие книги, а уж оттуда открывался мне великолепный вид на главную комнату магазина, включая парадную дверь и письменный стол Нормана с креслом. Это место получило у меня название – Балкон. (Отныне слова *Балкон*, *Воздушный Шар*, сплавясь в ямбическую строку, образовали как бы колыбель или такую печальную лодочку. Бывает, сяду в лодочку, плыву, плыву. А то лежу себе в колыбели, качаюсь, сосу большой палец на ногу.)

Позже я узнал, что комната, сперва поразившая меня своим простором, как океан, была лишь малой частью предприятия. Норман расширял и расширял свое дело. Когда-то, задолго до моего времени, он приобрел две лавки рядом с исходным книжным и продырявил соседние стены. Влезая в узкие двери – извиваясь, протискиваясь бочком, подобрав живот, – вы переходили из комнаты в комнату, и все они были набиты книгами. Мне думалось, что такие помещения, соединенные узкими дверцами, могла, по идее, построить некая гигантская крыса, и я тешился этой мыслью когда-то, давно, еще до того, как Норман меня так ужасно разочаровал.

Одни книги тесным строем стояли под стрелками, другие валялись везде и всюду. Когда лучше узнал людей, я понял, что именно этот кавардак их и приманивал в «Книги Пемброка». Они не для того сюда являлись, чтоб цапнуть книгу, выложить деньжата и слинять. Они здесь торчали часами. У них этот процесс назывался просмотром, но скорей походил на археологические раскопки, на добычу полезных ископаемых. Удивляюсь, почему они с собой не прихватывали черпаки. Копали сокровища голыми руками, увязая до подмышек, – ведь выкопать литературный самородок из кучи шлака куда приятней, чем запросто зайти в магазин и его купить. Собственно, покупать в «Книгах Пемброка» – тоже как читать: никогда не знаешь, что обнаружишь на следующей странице – стеллаже, полке, ящике, – тут тоже, знаете, свое дополнительное удовольствие. Вот и в туннеле тоже – никогда не знаешь, что обнаружишь за ближайшим поворотом, на дне ближайшей шахты.

Но даже и в те первые головокружительные недели поисков, исследований и открытий я не пренебрегал своим образованием. Ни разу не зашел в туннель, предварительно не

прокорпев несколько часов над книгами. И я делал огромные успехи. Скоро я без труда усваивал даже так называемые трудные романы, в основном русские и французские, и ориентировался в простых трудах по философии и бизнесу. Теперь, в результате последующих моих разысканий, мне ясно, что подобные успехи стали возможны только благодаря постоянному росту лобных и височных долей моего мозга, сопровождаемого, полагаю, невероятным увеличением затылочных извилин. Рассуждая как бы вспять, от следствия к причине, я считаю себя вправе заключить, что череп мой под своим банальным внешним обликом скрывал латеральное удлинение зоны Вернике⁸ – деформация, обычно связанная с преждевременным развитием речевых способностей, хотя в известных случаях, не спору, и сопряженная опять же с редкими формами идиотизма. Этот постоянный рост я приписываю духоподъемной обстановке, хотя питание, конечно, тоже сыграло свою роль. Был во всем этом и досадный побочный эффект: голова у меня так отяжелела, что трудно стало ее держать. Исключительное умственное развитие не сопровождалось, понимаете, телесной дюжестью. Я был по-прежнему досадно хлипок. Козявка, мелюзга.

Собственно, это аксиома в психиатрии, что преждевременное развитие интеллекта, сочетаясь с физической хилостью, может породить многие неприятные черты характера: жадность, манию величия, навязчивую мастурбацию – далее можно не перечислять. И разумеется, только из-за того, что некие так называемые эксперты, начитавшись примитивнейших учебников, столь пошло трактуют глубины моего характера, всю мою жизнь я изо всех сил старался их избегать – я имею в виду психиатров. Такое отвращение лишь естественно, по-моему, если учесть, что среди прочих нежелательных побочных эффектов неординарной судьбы неизменно обнаруживается почти патологическое желание спрятаться, а если это невозможно, всегда быть в маске.



Сочетание тяжелой головы с хлипким телом меня заставило выработать грузную походку, и, хоть в дальнейшем я решил, что поступь эта мне придает солидный и достойный вид, в те времена я из-за нее выглядел только еще нелепей. Невольно я покачивал огромной головой на ходу или тяжело топал, что сообщало моей внешности что-то скорее бычье. И еще я имел сильную склонность плюхаться головой вперед под веселый хохот окружающих.

Неповоротливость, столь гротескная при моем телосложении, особенно была плачевна в период, когда я достиг жизненной поры, требовавшей от меня особого проворства. Хотя ничто в повадках моих братьев и сестер не намекало на развитие мозга, жевательный аппарат зато у них развился на славу, в чем я, увы, неоднократно и горько убеждался на собственной шкуре. Я жевал бумагу, они жевали меня. Ужасная асимметрия. Мы все были уже готовы к твердой пище. Мы, собственно, были уже готовы распротиться с нашим семейным укладом, и до Мамаы, сквозь винные пары, это наконец дошло. Наши блестящие резцы сверкнули ей, как свет в конце материнского туннеля. И, озаренная этим светом, она решила научить нас обходиться без нее, помочь нам, как говорится, встать на ноги, подняться, так сказать, с колен, чтобы самой затем снова вернуться к бонвиванству.

Образование наше было просто и практично. Мы попарно выходили за Мамою следом при ее вылазках наверх, и нам полагалось учиться уму-разуму, наблюдая ее приемы. Под беззаботным обжорством и пьянством была подведена черта: мы стояли на пороге нового, перед нами открывался совершенно новый стиль жизни. Антропологи считают охоту и

⁸ Вернике, Карл (1848–1905) – немецкий ученый, психиатр, открывший центр мозга, который ведаёт речевыми способностями.

собираательство самой низшей ступенью цивилизации; наша ступень была еще ниже. Назовите ее подбиранием и подчисткой. Работа почти исключительно ночная. Основные позиции – скрючиться, распластаться, взметнуться дыбом. Основные движения – ползание по-пластунски, бег опрометью. Когда пришла моя очередь, я оказался в паре с Льювенной. Я был польщен, потому что эта сестрица всегда относилась ко мне безразлично, меня не потчуя ни укусами, ни тумаками, и слава богу, поскольку, обладая редким атлетизмом, она однажды, когда демонстрировалась куча-мала, откусила Пуддингу большую часть уха. Я всегда помнил – не без опаски – о ее статуре, но в ту ночь, когда мы отправлялись, в первый раз заметил вдобавок, какой у нее лохматый зад. Не только зубы у нее отросли. С головой уйдя в науку, я совсем упустил из виду эти тенденции, но сейчас ее шерстистые, мелькающие передо мной бока приводили меня в замешательство, и вдруг я даже ощутил острую к ней неприязнь.

С Мамой во главе мы пролезли под дверь подвала и вышли в широкий мир. Я полагал, что лучше других подготовлен к тому, что нам предстояло увидеть. В конце концов, я, не кто-нибудь, часами просиживал на Балконе, через весь магазин глядя в фасадное окно. Небось кое-чего понавидался – людей, автомобилей, дома по ту сторону улицы. Однажды видел конного полицейского, однажды лил дождь. Но, выйдя вслед за Мамой и Льювенной в темно-мерцающую ночь, я мигом понял, что созданная мной картина мира, ограниченная и прямоугольная, даже отдаленно не передает величия оригинала. Я себя чувствовал землянином, ступившим на поверхность Юпитера. Мы ступали по черной пустынной тверди.

Прямо над нами желтым солнцем в черном небе висел фонарь. Откуда-то – возможно, от фонаря – шел пронзительный, надрывающий уши визг, до безумия меня раздражавший своей настырностью. По обеим сторонам смутно высились облезлые стены четырехэтажных домов, как края ущелья. Уже на той ранней стадии развития я был достаточно начитан, чтоб тотчас

сформулировать: «Ущелье одиночества». Сформулировал и содрогнулся. То и дело проносился мимо автомобиль, кося блестящим глазом, и дрожала черная пустыня у нас под ногами. Был жуткий холод, ледяной гребень какой-то нам прочесывал мех. Ветер. Конечно,

Льювенну, с ее более ограниченным кругозором, все это должно было впечатлить куда сильнее, чем меня. Я вправе был ожидать, что она застынет, попятится, ну по крайней мере разинет рот, вылупит глаза, одним словом, обалдеет, и буквально возмутился, видя, как она, спокойно принюхиваясь, трусит за Мамой, будто что ни вечер привыкла разгуливать по

Юпитеру. Что до меня, я тогда еще был под защитой сравнительной своей неосведомленности, и только на далеком горизонте моего сознания мрела смутная тревога.

Быстро, гуськом, стараясь держаться как можно ближе к домам, мы прошли Корнхилл и свернули в узкий проулок. Я замыкал шествие. В проулке было темно и пахло так же, как под надписью КЛОЗЕТ, но сильнее. Видно, там оказалась какая-то еда, потому что я слышал, как Мама и Льювенна чем-то похрустывают впереди, во тьме. Они не сочли нужным со мной поделиться, и, когда подоспел, я обнаружил только клочок салата. На вкус

– типичная «Джейн Эйр».⁹ Этим проулком мы вышли к Ганновер-стрит, прямо на яркий блеск Казино-театра. По навесу бежали желтые лампочки и кричали: «Девочки, девочки, девочки» и еще: «Лучшие в Бостоне». Под навесом, по обе стороны стеклянного билетного окна, стояли черно-белые фотографии в натуральную величину, фотографии, как потом уже я разобрался, красивых женщин. Одежды на них не было никакой, только туфельки на высоких каблуках и бриллиантовые тиары, да еще большие черные прямоугольники прикрывали у каждой грудь и место под животом. У одной были светлые, у другой темные волосы. И каждая приподняла ножку. Застигнутые фотоаппаратом посреди танца, они парили, застыв, вовеки не кончив па: щелчок объектива их отрубил от времени, как гильотина. Мама с Льювенной на них не обратили ни малейшего внимания. Они прошли прямо в дверь кино, под ВЫХОДОМ, и уплетали за обе щеки просыпанный кем-то попкорн.

⁹ «Джейн Эйр» (опублик. в 1847) – знаменитый роман Шарлотты Бронте (1816–1855).

Льюенна была прямо дока по части подбирания и подчистки, такой уж природный дар. На сей раз я даже не пытался к ним присоединиться. Стоял смотрел на постер, задравши одну ногу. Невзирая на всю свою начитанность (даже «Любовника леди Чаттерлей»¹⁰ переварил), об этой стороне жизни я имел лишь бледное представление отвлеченного интеллектуала.

Прежде я ничего подобного, собственно, *не испытывал*. Теперь, оглядываясь назад, на свою жизнь, вижу, что миг, когда я стоял, глаза на этих почти голых созданиях, на этих ангелов, стал для меня, как это принято называть у биографов, поворотным пунктом. Ну что же, вот и я скажу, что 26 ноября 1960 года, на боковой улочке Бостона, близ Сколли-сквер, перед Казино-театром, тропа моей жизни круто повернула. Но тогда я, конечно, ничего этого не знал. Тогда я не знал даже, что я в Бостоне.

Льюенна с Мамой слопали весь попкорн, и мы прошли дальше по Ганновер, скользя вдоль сточных желобов, к почти опустелому Сколли-сквер. Да, не зря Сколли-сквер называли сточным колодцем: сырой асфальт посверкивал под фонарями, как вода. Женщина и сразу же за ней следом мужчина прошли и нас не заметили. Быстро прошагали, свернули за угол и скрылись за дверью под надписью НОМЕРА. Вовеки не забыть, как цокали по тротуару ее каблучки. Мы таились в канаве, пока за ними не закрылась дверь. Потом, следом за Мамой, мы перебежали широкий простор Сколли-сквер на пределе нам доступной скорости, верней, Маме доступной скорости. Мы-то с Льюенной в те поры очень быстро умели бегать. Достигнув противоположного тротуара, Мама обнаружила лужу пива, и они с Льюенной наотрез отказывались идти дальше, пока ее всю не вылакали до последней капли.

Моя тревога тем временем с дальней кромки сознания переместилась в центр и там закрепилась, меня уже прямо трясло от страха. Я думал: «К черту вашу еду». Хотелось опрометью бежать домой, в теплую укромность книжной лавки, но страшно было расстаться с Мамой. Особенно меня пугали грузовики, громыхавшие мимо, бросая на стены огромные тени фар, но Мама даже глаз на них не поднимала, а немного погодя и Льюенна тоже.

Потом мы дальше прошли по улице. Прошли мимо громады Старого Говарда со стрельчатыми черными окнами – когда-то знаменитый театр закрыли давным-давно. И там обосновались крысы без роду без племени. Вот где, того гляди, ужокошат, сказала Мама. В конце концов, до отпада налакавшись и нализавшись из луж, мы напали на еду – хот-доги, маринад, пышки, кетчуп, горчицу – в больших синих баках в тылу заведения Джо и Немо. Были тут и другие крысы, но мы держались в сторонке. Зачем якшаться со всякой швалью, и вообще мы не из общительных. Потом были тылы бара «Красная шляпа» и снова лужи. В основном моча, но и спиртного хватало, так что Мама увлеклась и Льюенна тоже. Дурные гены, по-моему, и больше ничего. Обе они на пути домой делались все безрассудней, на Кембридж-стрит то и дело шли по самой середине тротуара и пели. В отличие от меня, конечно. Я держался поближе к зданиям, крался по какому-то желобу и делал вид, что с ними незнаком. Собственно, я соблюдал дистанцию в надежде, что, когда гнев небес обрушится на их головы, в меня он не попадет.

Я пытаюсь рассказать подлинную историю моей жизни, и, поверьте мне, это не так-то легко. Я перечитал массу книг под надписью ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, прежде чем, хотя бы отчасти, осознал, что значит эта надпись и по какому признаку иные книги под ней помещены. Я-то думал, что читаю всемирную историю. И по сей день то и дело приходится себе напоминать – иной раз аж стучу себя по лбу, – что Эйзенхауэр реальный, а Оливер Твист нет. Затерянный в мирах. Гносеология и ужас. Оглядываясь на свой отчет об этом первом выходе с Мамой и Льюенной в широкую пустыню вне нашей книжной лавки, вижу, что упустил один небольшой эпизодик. Эпизодик банальнейший, с моей точки зрения, однако ж, обнаружись он позже, вы бы, конечно, брезгливо его швырнули мне в морду. Так и вижу, как, крутясь на своем вращающемся кресле, вы буквально визжите от восторга. А ведь

¹⁰ «Любовник леди Чаттерлей» – нашумевший роман Дэвида Герберта Лоуренса (1885–1930). Написанный в 1929 г., он вызвал бурю ханжеского негодования. Только в 1960 г. в Лондоне прошел наконец-то судебный процесс, на котором роман был оправдан.

это даже и не эпизод, а так, скорей порыв, ничем не разрешившееся побуждение, возбуждение, вызванное косматой задницей Льюенны.

Пока я за ней следовал по проулку, эта задница, как уже было указано, вертелась туда-сюда у меня перед самым носом. Туда-сюда. И самое смешное, Льюенна вдобавок упорно держала хвост под вызывающим углом, под таким углом, какой иначе не могу вам описать, как только – вот, он был развязный. Развязный и подстрекательский. Мы пробирались по проулку гуськом, и эта задница Льюенны мне застила все, заполняла мысли, ни о чем другом не давала думать, даже о еде и опасности. И потом еще, конечно, этот запах. Едва ли сумею вам передать подобный нюанс: неодолимую силу этого аромата.

Он доводил меня до безумия, я терял всякую власть над собой, еще чуть-чуть, и я бы исступленно на нее накинулся. Огонь в чреслах так и толкал меня вперед. Я уже видел, как запрыгиваю на нее, как погружаю мои резцы в шерсть у нее на шее, а она извивается могучим торсом, вздымает зад и с визгом блаженной муки мне отдается. Ужасно. Но, к счастью, длилось это недолго. Мы были уже в конце проулка, мы уже приближались к огням Ганновер-стрит. Мимо прогремел грузовик, и страсть моя, сколь ни была могуча, рассеялась как дым от этого грохота. Обошлось. Да и как не обойтись: ведь только несколько метров и минут меня отделяли от того поворотного пункта – когда буду стоять на тротуаре, подняв одну ногу, взирая на ангелов. Да, открою вам душу: то желание изнасиловать родную сестру в темном проулке было последним в моей жизни нормальным сексуальным порывом. Когда выходил в тот вечер, я был, несмотря на всю свою незаурядную эрудицию, обычный представитель мужского пола. Когда вернулся, я уже ступил на зыбкий путь развратника и извращенца.

Глава 4



В мире вне моей дорогой-любимой книжной лавки царил закон джунглей и девиз: «Пусть неудачник плачет». Там все и вся как сговорились чинить нам смертный вред всегда. Шансы на то, что мы проживем еще хоть год, были близки к нулю. Собственно, рассуждая в категориях статистики, мы были уже мертвецы. Тогда я еще в точности этого не знал, но было интуитивное предчувствие, подобное зловещему предощущению пассажира на палубе тонущего судна. Если на что и годна эрудиция, так на то, чтобы в нас развить чувство обреченности. Ничто не истощает отваги так, как смелое воображение. Я читал дневник Анны Франк. Я был Анной Франк. Ну а другие, те, положим, испытывают предельный ркас, таятся по углам, от страха покрываются холодным потом, но, едва опасность минет, топчут себе дальше как ни в чем не бывало, будто им и не грозило ничего. Топчут себе по жизни, пока их не расплющат, не отравят, не сломают им шею железным ломом. Ну а я – я пережил их всех, хоть испытал взамен тысячи смертей. Я шел по жизни как улитка, волоча на себе блестящий панцирь страха. Вот умру по-настоящему – то-то будет разрядка напряженности.

Однажды ночью, вскоре после этой нашей разведки возле Сколли-сквер, Мама пошла, как всегда, наверх, и больше она не вернулась. Пару раз я еще видел ее: шлялась с блядами в

тылах Джо и Немо – а там и вовсе запропала. На том кончилась наша семейка. После, что ни ночь, мы кого-нибудь не досчитывались, пока не остались только Льюенна, я да Плюх. Потом и они ушли. Им было трудно поверить, что я никуда не двинусь и это решено. Для них я был безумец, хоть и не опасный. Они никак не одобряли моего выбора. Книжная лавка, в конце концов, самое занюханное место для жилья, и Мама, если на то пошло, его не выбирала, нужда приперла. Несмотря на прежние раздоры, последний день прошел у нас в теплой и дружественной обстановке. Почти трогательно. Льюенна мягко меня пихнула, Плюх, конфузясь, стукнул по плечу. Когда они уже исчезали под дверь, я им крикнул вслед: «Пока-пока, сукины дети, нелюди, ублюдки!». Словом, спровадил честь по чести, и после этого мне полегчало.

Я обустроил то местечко на потолке над лавкой, которое давно уже облюбовал, на полпути между Воздушным Шаром и Балконом, где мог не отставать от жизни, а ночами я продолжал свое образование, я пожирал книгу за книгой, теперь уж, правда, не в буквальном смысле. Впрочем, тут следует оговориться. Каждую ночь таинственно перемежая чтение с закуской, я открыл дивное соотношение, предопределенную гармонию, некое единство вкуса книги и ее литературной ценности. Чтоб определить, стоит ли это почитать, мне теперь достаточно было чуть-чуть отгрызть по краю. Я наострился использовать для дегустации титульный лист, оставляя текст нетронутым. «Что в пищу вкусно, то и для чтения здорово» – таков был отныне мой девиз.

Порой, давая отдых воспаленным векам, я бродил по шахтам и тайным ходам далеких предков и вот однажды ночью, ползя за плинтусом, наткнулся на грудку отпавшей штукатурки, барьер, который прежде принимал за часть стены, но теперь увидел, что на самом деле это заваленный туннель. Преграждавшие путь куски были большие, угловатые, ловко пригнаны один к другому, и мне пришлось потратить немало времени и сил, прежде чем я сквозь них пробился и за ними обнаружил новую дыру. Это было изящное, почти круглое отверстие, прямо сквозь плинтус, в главное помещение магазина. Хитроумно, а может, и случайно, к счастью ожидая меня, трудолюбивые прашуры вывели этот путь как раз за старый несгораемый шкаф, в место, практически не видимое никому в магазине. Балкон и Воздушный Шар, как ни бесценны для меня, были всего лишь наблюдательные пункты, обсерватории, и, как гнезда диких птиц, витая в недостижимой вышине над суетней и шумом деловых процессов, мне не давали такого прямого доступа к россыпям свежих книг, как это новое открытие. Со свойственным мне, по-моему, тонким чувством юмора я назвал это местечко – Крысиная Нора. Мог бы назвать Вратами Рая.



С тех пор я часто и надолго покидал подвал ради прекрасных книг, обнаруженных выше. Комната за комнатой исследовал сокровища. Были тут и фолианты в коже, с золотым обрезом, хоть я лично предпочитаю карманные издания, особенно «Нью Дайрекшен», знаете, в таких черно-беленьких обложках, а тем более скрибнеровские, в строгих таких тонах. Будь я любитель почитать на скамейке в парке, вечно бы их таскал с собой. Я очень, очень ценил подвал, но наверху – вот где я действительно почувствовал, что расцветаю. Мой интеллект изострился, стал даже острей моих зубов. Скоро я уже за час одолевал роман в четыреста страниц, за день разделялся со Спинозой. Иногда взгляну окрест себя, и душа моя трепещет. Ну за что, за что мне такое счастье! Иногда во всем мерещился мне некий тайный план. Что, если, думалось, несмотря на малообещающую внешность, мне уготована Судьба? И тут я разумел нечто, что дано героям романов и рассказов, где события, как ни кружат, как ни выются, в конце концов свиваются в некий рисунок. Жизнь в романах и рассказах имеет направление, имеет смысл. Даже такие глупые, бессмысленные жизни, как у Ленни в «О

мышьях и людях»,¹¹ через участие в романе обретают достоинство, значение Тупых и Глупых жизней; такое утешение: быть иллюстрацией, примером, образцом. В реальной жизни и такого не сподобишься.

Отнюдь не обладая физической храбростью, как, впрочем, и никакой другой, я с тоской воображал всю глупость и пустоту мне предстоявшей обыкновенной, невысокохудожественнолитературной жизни и очень рано стал тешиться смешной идеей, будто бы мне и в самом деле уготована Судьба. И в поисках ее я начал путешествовать во времени и пространстве своих книг. Я заглянул в Лондон, к Даниелю Дефо, чтобы под его присмотром понаблюдать чуму.¹² Я слышал, как звонарь бил в погребальный колокол, крича: «Мертвых выносите!» – я чуял запах дыма при сожжении трупов. До сих пор стоит у меня в ноздрях. Люди по всему Лондону мерли как крысы – собственно, и крысы тоже мерли как люди. После нескольких часов подобных удовольствий мной овладевала охота к перемене мест, я отправлялся в Китай, взбирался по узкой крутой тропе меж кипарисов и бамбука чтобы немного посидеть подле смиренной горной хижины со стариком Ду Фу.¹³ Молча глядя на курящийся в долине тонкий белый дым, слушая, как ветер побрякивает камышовой занавеской, как течет из дальнего далека звон колоколов, мы оба с ним были «наедине с десятью тысячами скорбей». А потом я снова бросался в Англию – одолевая океаны, миры и века, с той легкостью, с какой соскакивают с тротуара, – и разводил костер подле проселочной дороги, чтоб обреченная бедняжка Тесс, копавшая репу на черном, продувном поле, могла согреть свои натруженные руки.¹⁴ Я перечел ее жизнь дважды, от корки и до корки, – я понял ее Судьбу – и я отвернул свое лицо, чтобы скрыть слезы. Потом я вместе с Марло¹⁵ в Африке плыл на утлом судне по какой-то там реке в поисках одного малого по имени Курц. Ну, нашли мы его. Лучше бы не находили! И я знакомил людей между собой. Я посадил Бодлера на плот вместе с Гekom и Джимом.¹⁶ И очень хорошо, ему не вредно оказалось. А порой я осчастливливал печальных. Китсу¹⁷ я дал жениться на Фанни, пока он еще не умер. Спасти его совсем мне не удалось, но видели бы вы их в брачную ночь, в дешевеньком римском пансионе! Для них он стал волшебным замком. Книжки входили в мои мечты, а порой и сам я мечтательно входил в свои книги. Я держал Наташу Ростову за тонкий стан, чувствовал ее руку на своем плече, и волны вальса нас несли по навоощенной бальной зале и дальше, в увешанный бумажными фонариками сад, а удалые красавцы гвардейские полковники меж тем крутили бешено усы.

Смеетесь. Ну что ж, смейтесь, имеете право. Когда-то – невзирая на свою неприятную

¹¹ «О мышьях и людях» – изданная в 1937 г. повесть лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека (1902–1968), *Ленни* – один из двух главных героев, психически неполноценный человек.

¹² *Дефо, Даниель* (1660–1731) в 1722 г. написал «Дневник чумного года», в котором изобразил недавнее реальное событие: Лондонскую чуму 1665 г.

¹³ *Ду Фу* (712–790) – великий китайский поэт, «корифей поэзии», знал богатство и славу, нужду и лишения, умер в одиночестве и нищете.

¹⁴ Героиня романа Томаса Харди (1840–1928) «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (написан в 1891), гибнет, приговоренная к смертной казни.

¹⁵ *Марло Кристофер* (1564–1593) – великий английский поэт, драматург, талантом соперничавший с Шекспиром, был убит в подозрительной пьяной драке.

¹⁶ *Бодлер* – великий французский поэт; *Гек и Джим* – герои произведения Марка Твена «Приключения Геккельберри Финна» (1884).

¹⁷ Великий английский поэт Китс умер молодым (1795–1821), не успев жениться на своей избраннице.

мину – я безнадежный был романтик, а это самые комические существа. И гуманистом был, и тоже безнадежным. Однако ж вопреки – а может, и благодаря – подобным зигзагам я сумел познакомиться со многими баснословными людьми, и с гениями тоже, уже на заре своего образования. Был с Великими на дружеской ноге. Достоевский и Стриндберг например. Этих-то я мигом раскусил, рыбак рыбака видит издалека: тоже истерики, тоже страдальцы. Это они мне преподали ценный урок: как ты ни мал, будь ты малявка, кроха, на масштабах твоего безумия это ничуть не отражается.

И не обязательно поверить какой-то истории, чтобы она тебе понравилась. Я все истории люблю. Люблю я этот легкий переход от начала к середине, потом от середины к концу. Люблю степенные ступени смысла, туманные поля воображения, петляющие тропы, пологие луга, курчавые лесные кручи и зеркала озер, трагические узлы, комичные заминки. Один только вид литературы не перевариваю – крысиную литературу, включая и мышиную.

Не терплю благонравного старого Крыси из «Ветра в ивах»,¹⁸ мне глубоко насрать на Микки-Мауса и Стюарта Литтла. Учтивые, расшаркивающиеся милашки, они у меня в зубах навязли, ну как рыба кость застряли, не идут.

А теперь, когда все-все идет к концу, я больше не могу поверить, что у людей реальных так уж часто есть Судьба, и я уверен, что у крыс ее вообще не бывает.

Несмотря на всю мою интеллигентность, мой такт, изысканность и тонкость моих чувств, мою все возрастающую эрудицию, я оставался существом с очень и очень ограниченными возможностями. Читать – пожалуйста, но говорить – совсем другое дело. Притом я ведь не имею в виду выступлений на публике. Я не имею в виду, что я болезненно чурался публичности, хоть было и такое, было. Нет, я имею в виду самое простое устное высказывание – вот! И на него был неспособен. Разговорчивый на грани болтливости, я был обречен молчать. Дело в том, что у меня не было голоса. Все прекраснейшие изречения, бабочками порхавшие у меня в мозгу, порхали, собственно, по клетке, из которой им не дано было вылететь. Все чудные слова, какие я создавал и смаковал в задушенном молчании моей мысли, точно так же пропадали втуне, как тысячи, как миллионы слов, которые я выдрал из книг и проглотил, бессвязные отрывки романов, пьес, эпических поэм, тайных дневников, скандальных исповедей – все пошло прахом, вылетело в трубу, все немо, бесполезно, все пропало. Дело в элементарной физиологии: у меня не так устроены голосовые связки. Я часами декламировал Шекспира. А выдавить из себя не мог ровно ничего, кроме нескольких невнятных вариаций все того же писка. Вот вам Гамлет, ладонь на меч: *пыи-пыи-пыи*.¹⁹ (Это Фирмин прячется от шиканья и свиста под подушкой на сиденье.) Дело идет полегче в тех строках, где Макбет говорит о жизни, что она сказка в пересказе для глупца, полна трескучих слов и ничего не значит²⁰ – здесь несколько истошных писков в самый раз. О паяц! Смеюсь, чтобы не плакать, – что, конечно, мне тоже не дано. Как и смеяться, впрочем, если на то пошло, – только в уме, в уме, а это вам похуже слез.

¹⁸ Повесть для детей Кеннета Грэма (1850–1952), опубликованная в 1908 г.

¹⁹ Гамлет, акт I, сц. 5. Положив ладонь на меч, требуя того же от друзей, Гамлет просит сохранить его тайну и рассказывает о своем свидании с призраком отца.

²⁰ Макбет, акт V, сц. 5. (Пер. Б. Пастернака.)



Еще в тот период, когда исследовал туннели – о, как я тогда был молод, едва вырос из *классики для подростков*, имел весьма шаткое представление о мире, – я впервые себя увидел в зеркале. На двери под надписью КЛЮЗЕТ была записка от руки: «Просьба не оставлять дверь открытой». И не оставляли. После журчания воды и перед топотом шагов вверх по лестнице неизменно и мерзко шелкала задвижка. Я сидел в углу за таганком в тот день, когда, громче всякого шелчка, в зазор между спуском воды и шагами упала тишина. Я мигом понял, что произошло, и вечером, когда закрыли магазин, осторожно выполз на мерцание. Дверь под надписью КЛЮЗЕТ стояла настежь, и в комнатке за ней горел свет, ужасной, дикой яркости, я такой даже не мог себе представить. Сначала свет ослепил меня, меня сбили с толку фарфоровые предметы. Они были как дважды два похожи на алтари – видел в «Детской Библии с картинками», – и я заключил, что вхожу в храм. И какой торжественностью веяло от гладких белых поверхностей, сверкающих серебристых деталей. (В том возрасте я еще с большим трудом различал торжественное и гигиеничное.) Сначала я обследовал край овального бассейна, наполовину налитого водой, в которой плавало

коричневое что-то, потом отъел немного от рулона белой мягкой бумаги, который был тут же прикреплен к стене – как Эмили Пост²¹ на вкус. Оттуда уж я смог перепрыгнуть на высокий алтарь, который на поверку тоже оказался бассейном, на сей раз пустым, и на дне у него была круглая дыра с серебряной каемкой. Над ним, слегка клонясь вперед, висело большое зеркало в блистающей раме, а в нем, безумно накрененная, висела за мною комната. Хотя мой интеллект тогда был еще очень недоразвит, я мигом ухватил весь принцип этой вещи, встал на задние ноги на краю бассейна, вытянулся изо всех сил, и впервые в жизни я воочию увидел самого себя. Я, конечно, видел членов моего семейства и должен бы, казалось, исходя из их наружности, сделать вывод о своей собственной. Но мы во многом так сильно рознились, что я предположил – как я ошибся, о, теперь я понял! – что и в этом смысле непохож на них.

Да уж, увидеть себя впервые – совсем не то же, что просто увидеть какую-то старую крысу. Переживание было более личное и более болезненное. Легко и просто взирая на отнюдь не милые черты Пуддинга или Плюха, на свой собственный подобный облик я глянул с ужасом и омерзеньем. Я, конечно, понимал, что острота моих мучений прямо пропорциональна безмерности моего тщеславия, но мне от этого было не легче, о, ничуть не легче. Урод, да еще и суетный – какая пошлость! Вот я стоял – слегка кренясь, во всех неотменимых подробностях, – низенький, практически без талии, волосатый и без подбородка. Смехотворно. Этот подбородок, точнее его отсутствие, мне причинял особенно невыносимую боль. Будто бы указывая – указывая! разве такое ничтожество способно на столь четкий жест? – на полное отсутствие твердости и моральной устойчивости. А черные вытарщенные глаза, по-моему, мерзко уподобляли меня лягушке. Короче, это была физиономия бесчестная, отталкивающая, физиономия, скажем прямо, низкого и скользкого типа. Пошляка. Притом детали – бесподбородность, острота носа, желтизна зубов и т. д. – были ничто в сравнении с общим впечатлением безобразия. Даже и тогда, когда мои представления о красоте не поднимались выше иллюстраций Тенниэла к Алисе,²² я понял, что *это* – некрасиво. Но контраст, страшная неодолимая пропасть, провал, отчаянно углубился, когда я узнал о существовании таких истинно прекрасных созданий, как Фред, Джинджер,²³ Рита, Гарри, Эйва, все мои Прелестницы. Нет, нет, это невыносимо.

С той поры я, бывало, делаю огромный крюк, лишь бы не увидеть собственного отражения. Зеркала – что зеркала, их избежать пара пустяков, а вот окна и блестящие колеса автомобилей – дело другое. Стоило мне увидеть в них себя, и я пугался, будто встретил чудище. Конечно, я быстро соображал, что чудище – я сам и есть, и не могу вам описать, какая на меня при этом накатывала тоска. И скоро я выработал легкую психологическую уловку: когда бы это ни случилось, вместо того, чтобы сказать себе «вот и я» и удариться в слезы, я говорил «вот и он» и убегал.

В те далекие юные дни, и особенно после того, как нашел доступ на верхний этаж, я не щадил себя, я жил в гору, я себя сжигал, забросив чепец за мельницу, и кроме тех часов,

²¹ *Пост Эмили* – автор популярного в Англии руководства «Этикет». Руководство пользовалось авторитетом в 20-х годах прошлого века и вплоть до Второй мировой войны.

²² *Тенниэл, сэр Джон* (1820–1914) – английский художник, главным образом политический карикатурист, 50 лет проработавший в журнале «Панч»; иллюстрируя «Алису в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, он и в этих иллюстрациях не отступал от привычного для него метода карикатуры.

²³ *Астер, Фред*, наст, имя Фредерик Аустерлиц (1899–1987) – американский певец, актер, танцовщик, танцевавший со всеми первыми леди Голливуда, а также успешный хореограф, одним словом, легендарная мегазвезда, автор многих из исполняемых им песен; *Роджерс, Джинджер*, наст, имя Вирджиния Маклот (1911–1995) – его постоянная партнерша. Этой знаменитой паре, блиставшей в 20–30-х гг., Феллини посвятил фильм «Джинджер и Фред», в котором постаревших танцовщиков, в юности всего-навсего успешно копировавших Джинджер и Фреда, играют Джульетта Мазина и Марчелло Мاستрояни.

когда голод гнал меня в широкий мир за пропитанием, свои ночи, все напролет, я проводил за чтением и в путешествиях по магазину, а днем почти все время сидел как пришитый на Балконе или на Воздушном Шаре, боясь хоть что-то упустить из происходящего внизу. Дважды я так переутомился ночью, что заснул на книге, оба раза рывком проснулся, заслыша гром ключа в парадной двери – Норман отпирал лавку, – и мигом нырнул в Крысиную Нору. А еще однажды, вздремнув на своем посту, я чуть не грохнулся с Воздушного Шара.

Оттуда-то, с Воздушного Шара, за несколько недель перед тем, я впервые увидел Нормана. Верней, я не всего Нормана увидел, только сверкающую маковку да вид сверху плеч и предплечий. Он тогда, кстати, был еще не Норман – только Хозяин Письменного стола. Уж сколько времени потом прошло, а я все не мог набраться храбрости и глянуть с Воздушного Шара в часы торговли. Но вот, в одно прекрасное утро, ранним-рано, я наконец решился. Не улавливая снизу ни звука, кроме жалобного скрипа кресла и шороха бумаги, я приложил сторожкий глаз к краю Тайной Щели и – увидел его за письменным столом. Налегая локтями на ручки кресла, он читал газету. С моим феноменальным зрением мне эту газету прочесть было раз плюнуть, но в тот момент мне куда интересней было читать то, что написано у Нормана на лысой голове. Вся моя жизнь отмечена рядом непостижимых совпадений – очень долго я полагал их знаком того, что мне дарована Судьба, – и вот так случилось, что именно перед тем, как я впервые смотрел сверху на голову Нормана, мне довелось несколько просветиться насчет чтения по черепам.

Я работал под РЕДКИМИ КНИГАМИ и ПЕРВЫМИ ИЗДАНИЯМИ всю, что ли, предыдущую неделю и как раз накануне ночью горбатился над «Анатомией и физиологией нервной системы вообще и мозга в частности» Франца Иосифа Галля,²⁴ основополагающего труда по френологии. Хоть сначала я скептически отнесся к возможности по впадинам и шишкам на черепе определять характер, систематическая пальпация собственного шерстистого котелка – с помощью передней лапы – выявила бугры (почти на грани деформации) там именно, где их и следовало ожидать. Шишка у меня на лбу – такая, вроде бородавки, всё тру ее, когда я озабочен, – указывает, согласно Галлю, на поразительные лингвистические способности, тогда как непонятные борозды у меня под глазами свидетельствуют о возвышенном, высокодуховном складе. Еще я обнаружил у основания своего черепа красноречивейшие складки, говорящие о «способности связывать судьбу с другим лицом» и об «эротичности», свидетельствующие о наличии – стану ль отрицать? – «тенденции сильно привязываться к другим» и «склонности к вожделению и здоровом плотском аппетите». И наконец, просто в виде доказательства того, что даже череп способен к легкой иронии, на висках своих ношу небольшие, но выразительные отметины, произведенные рвущейся наружу, ничем не сокрушимой Надеждой.



²⁴ Галль, Франц Иосиф (1758–1828) – немецкий медик и ученый, занимался френологией, то есть наукой, согласно которой по строению черепа и некоторым другим внешним признакам можно определить характер человека.

Выглядывая из-за края Воздушного Шара, я изучал пригорки и ручейки нормановской черепашки. Ясно как день сияли признаки интеллекта, духовности, умственной энергии, твердости и – главное – ну прямо настоящая гора указывала на «чадолюбие», которое Галль определяет как «особенное чувство, побуждающее индивида жалеть беспомощных отпрысков, их пестовать, заботиться о них». При этом открытии касательно истинной природы Хозяина Письменного стола меня накрыло волной счастья – впервые за всю мою жизнь я чувствовал, что не одинок в этом мире. Я как-то сразу успокоился и ощутил в себе – как это определил бы Галль – «тенденцию сильно привязываться к другим». Я по уши влюбился.

Тут я слышу, кажется, звуки, свидетельствующие о возмущении, нарочитое поскрипывание креслом, старательное хмыканье. Видя, как я счастлив, вы не можете, не можете мне не указывать на слишком очевидное, вы вслух удивляетесь, неужто никогда мне не приходило в голову, что я не вполне подпадаю под категорию «беспомощных отпрысков». Отвечаю коротко: «Никогда». Оглядываясь назад, я вижу, что вся чуть ли не трагедия, к которой скоро перейду, разыгралась по той простой причине, что голова Нормана была не вовсе лишена волос. Мое исследование его характера при всей дотошности споткнулось о темные неухоженные кудельки, за которыми не видно было висков. О, если бы я только мог сесть к нему на плечо и ощупать эти виски передней лапой, уж я-то знаю точно, что бы я обнаружил: складки над ушами в форме полумесяцев, свидетельствующие о «деструктивных наклонностях», подкрепленные двумя клиновидными выступами, указывающими на «скрытность». Но это потом, потом. А пока вполне уместно приладить под портретом Нормана на письменном столе такую надпись: ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Ф. КОГДА-НИБУДЬ ЛЮБИЛ.

Глава 5



Я странствовал по своим книгам, но теперь уже их не ел, и еда – в вульгарном, примитивном, бесписьменном виде – была вечной проблемой. Каждую ночь мне приходилось покидать магазин, собрав все свое мужество, и протискиваться под дверью погреба, чтобы искать пропитания на Сколли-сквер, таясь в тени, ползая по водостокам, бегая из тьмы во тьму. «Дневник ползущего в ночи». Шло время, дни стали холодней, потом теплей, и я начал отмечать перемены в нашей округе, притом я вовсе не имею в виду художочные ростки комковатой травы и хиленьких нарциссов. Собственно, перемены, о каких толкую, представляли даже некий иронический контраст этому жалкому произрастанию. Чуть не в каждом квартале предприятия хирели, исчезали, а по ночам боковые улочки и даже сама Площадь пустели раньше времени. Если не считать матросни, ошивавшейся по порогам баров, после одиннадцати, как правило, вокруг не бывало ни души. И больше стало разбитых окон, и никто их не вставлял, так и зияли, если не заделают фанерой. Мусор грудился по закоулкам, а то и прямо на тротуарах перед магазинами. Автомобили стояли, брошенные, по обочинам, понемногу их расчленили на лом, а сами дома

ссутилились, что ли, от дряхлости, как старые люди или старые крысы, которым уже неумоготу держать спину. Крысы юркали в машины, там устраивались на жилье.

Частенько я натыкался на кого-нибудь из своих. Тоже сильно сдали с тех пор, как разбрелись кто куда. Осунувшиеся, робкие, длинные, с отвислыми животами – зрелище неприятное, и до такой степени, что часто я их едва узнавал. Они, впрочем, тоже норовили прикинуться, будто меня не узнают. И вечно они были вне себя, куда-то мчались – разведывая слухи о легкой поживе, спасаясь от Человека, – но иной раз кто и останавливался потрепаться, сообщить мне новость, дать подсказку, где можно прилично поужинать. Подсказки почти всегда давались ложные, с целью услать меня куда подальше. По существу, они мало изменились – в их глазах я был по-прежнему редкий идиот. В результате такой вот случайной встречи я узнал, что Элвис погиб накануне ночью под колесами такси. Мы стояли с Хватом на тротуаре, и он указал мне на кусочек меха посреди Кембридж-стрит, так, вроде маленького коврика. Да, правда, Элвис меня не жаловал, всегда не ставил ни во что, но ужасно было неприятно видеть его таким. Рядом с его именем я поместил слова НЕЛЕПАЯ ЖИЗНЬ.

Но что помещал я рядом с моим собственным именем? Если не в духах, я помещал ФИГЛЯР ПРЕЗРЕННЫЙ и даже КРЫСА, но, когда воспарю, – а в те поры такое случалось часто, – я себя обозначал: БИЗНЕСМЕН. Мой бизнес были книги – потребление и обмен. Я свисал с Воздушного Шара, перегибался через край Балкона, вечно подвергаясь риску бухнуться вниз, и читал утреннюю газету через Норманово плечо. Иногда, если он ставил чашку с кофе соответствующим образом, я видел собственное отражение в темной воде – зрелище, скажу я вам, не слишком аппетитное во время еды. Норман тоже был заядлый книголюб. Бывало, как слепой, нашарит на столе чашку, схватит и подносит к губам, не отрывая взгляда от газеты. И взмывал, парил под потолком кофейный аромат. Мне полюбился этот запах, хотя прошло немало времени, прежде чем я по-настоящему распробовал кофе.



Как-то раз один господин в баре меня спросил, каковы книги «в среднем» на вкус. Тут уж мне не приходилось лезть в карман за словом, но, чтобы его не оконфузить, не выставить совсем уж дураком, я прикинулся, будто размышляю, прежде чем ответить: «Друг мой, учитывая пропасть, отделяющую ваш жизненный опыт в целом от моего опыта в целом, я не могу дать вам более близкое представление об этой несравненной деликатесности, как если вам скажу, что книги, „в среднем“, на вкус – как запах кофе». Да, недурно пущено, и по его жесту, по выражению лица, с каким он снова пригубил стакан, я понял, что дал ему хорошенькую пищу для размышлений. И вот теперь я, как прежде, один, кофе даже и не нюхаю – еще одна горькая утрата в моей жизни.

После утренней газеты я, бывало, подслушивал переговоры Нормана с клиентами. Многие из них – даже большинство – были истые книголюб, рассчитывавшие соответственно урвать несколько хороших книжек за гроши. Если кто-то входил в лавку без заглавия на устах, если чьи-то поиски были рассеяны, нецелеустремленны, Норман мигом замечал, и он сразу понимал, в какое русло их следует направить. И он был ну прямо Шерлок Холмс по части определения характера по внешним признакам. С одного взгляда – по вашей одежде, выговору, прическе, даже по походке – он поймет, какая книга вам нужна, и ведь никогда не ошибется, никогда не всучит «Пейтон Плейс»²⁵ тому, кого больше порадовал бы «Доктор Живаго». Как и наоборот – Норман Шайн не был снобом. Маленький, толстозадый. Лицо

²⁵ Американский бестселлер. Автор Грейс Металлиус.

широкое – поперек себя шире, – а ротик маленький, и, когда слушает, он его поджимает. Задайте ему вопрос, спросите, имеется ли у него «Домби и сын» или «Жизнь Марианны» Мариво²⁶ в переводе, и поглядите, как у него подберется рот. Как будто стянули тесемкой мешочек, как будто тронули морской анемон. Притом не важно, какой вопрос, пусть наипростейший: «Кто написал „Войну и мир“? Где тут у вас нужник?» – он наклонит голову, как бы оглядывая вас поверх очков, подожмет губы, вообще поведет себя так, будто вы его призвали к самому глубокому исследованию. А потом анемон забудет страх, расслабится тесемка на мешочке, рот раздвинется нежнейшей из улыбок, и, воздев вытянутый указательный палец, будто пробуя ветер, он скажет: «Задняя комната, стеллаж слева, третья полка снизу, ближе к концу» или что-нибудь такое же точное. Со своей лысой макушкой в венчике кудельков он выглядел как веселый монах. Я его иногда даже путал с Братом Туком.²⁷

Субботними вечерами, особенно если погода выдастся хорошая, в магазине толкся народ, и Норман вставал из-за своей конторки подле двери и ходил по залу, помогая покупателям отыскивать то, что им нужно. И как он был тогда хорош! Мушкетер. Атос. Спокойный, сдержанный и собранный, и его трудно разозлить, но горе тому, кто в этом преуспеет. Застигнутый вопросом сзади, он мгновенно обернется, вонзит проворную рапиру в верхнюю полку, и вот уже сверкает, проткнутая, как рыба на остроге, «Смерть в Венеции».²⁸ Другая просьба погонит его вдоль стеллажа, за угол полки, и, сделав обманный выпад в сторону литературы для подростков, согнувшись, ударив вправо, он насадит на острие рапиры «Поваренную книгу с картинками от Бетти Крокер».²⁹ Третья просьба, на сей раз от старухи в макинтоше, скрюченной и безобразной, встречает всегдашнюю почтительность. Глубокий поклон, рыцарственный пируэт, два молниеносных удара – и «Критика чистого разума»³⁰ и «Артрит и здравый смысл»³¹ лежат у ее ног. Браво, мой старина Атос, bravo!

Но всего милей сердцу Нормана были дождливые деньки, когда в магазине пусто и можно бродить вдоль стеллажей, вооружась пучком индюшких перьев для стирания пыли, – и уж он стирал направо, стирал налево и на ходу мурлыкал и насвистывал. Глядя на него в такие минуты, я невольно думал о том, как неплохо быть человеком. Я тоже некогда любил дождливые деньки. Убаюканный перестуком капель, я, случалось, задремывал на своем посту. И порой меня мучили кошмары, во сне я умирал ужасной смертью, визжал, раздавливаемый несокращенным Вебстером,³² смыаемый в канализационную трубу,

²⁶ *Мариво, Пьер Карле де Шамблен де* (1688–1763) – французский писатель, представитель раннего Просвещения, в творчестве которого сильна морально-назидательная тенденция. Роман «Жизнь Марианны» писался с 1731 по 1741 г., переведен на русский язык.

²⁷ *Брат Тук* – монах, духовник Робин Гуда.

²⁸ Роман великого немецкого писателя Томаса Манна (1875–1955), написанный в 1913 г.

²⁹ *Бетти Крокер* – имя вымышленное. Якобы величайший знаток и мастер кулинарного искусства, никогда не существовавшая Бетти Крокер стала крупнейшим торговым брендом. «Полуфабрикаты и концентраты „Бетти Крокер“» – товарный знак всевозможных продуктов, в частности замороженных смесей.

³⁰ Произведение Иммануила Канта (1724–1804), немецкого философа, написанное в 1781 г.

³¹ Название по всем признакам вымышленное.

³² *Вебстер*, или *Уэбстер, Ноа* (1758–1843) – американский филолог, лексикограф, автор словаря, который по имени автора в обиходе так и называется «Вебстер». Словарь вышел в несчетном количестве изданий, и существует несколько его разновидностей: сжатый, международный, несокращенный и т. д. В полном виде словарь содержит 600 тыс. слов, сочетая в себе толковый и энциклопедический словари. И он очень веский, не

тонущий под пастью водостока. Но тут я просыпался в теплом магазине, под шелест дождика, шуршание индюшких перьев – какое счастье!

Тем временем мир вне книжной лавки все больше выглядел местом, для жизни мало оборудованным. Во время наших разведок на заре туманной юности Мама все укоряла нас с Льюенной за нашу черную неблагодарность, ведь она так много, видите ли, для нас сделала, указав нам самые злачные места для подбирания и подчистки. Смешно. По мне, так она нас чуть не навела в общем-то на несколько смертельных ловушек и очень мало нам открыла такого, за что бы следовало на коленях ее благодарить. Было, правда, одно исключение, было – кинотеатр «Риальто», и вот за это даже и по сей день моя благодарность безгранична. Нет «Риальто» – нет и томления. Нет томления – нет и Прелестниц. Нет Прелестниц – нет и... чего? Нет Прелестниц, и одинокий грызун в глубине сада мусолит и пестует свою тоску.

Блаженны, можно сказать, остальные члены моего семейства. Благодаря карликовому воображению и короткой памяти, они мало в чем нуждались, кроме еды и блуда, а того и другого им хватало, чтоб кое-как довлачить свою жизнь до конца. Но для меня, для меня это была не жизнь. Я, как идиот, лелеял высшие стремления и мечты. К тому же я был пуганая ворона. А «Риальто» был одним из тех редких мест в округе, где вы еще могли раздобыть кой-какую еду и поесть спокойно, не беспокоясь о том, какое бедствие обрушится меж тем на вашу голову и обратит вас в коврик, как Элвиса. Сочетая в себе кинотеатр с ночлежкой, «Риальто» был открыт двадцать четыре часа в сутки. Половина аудитории являлась сюда только поспать – дешевле комнаты, теплее улицы. У «Риальто» было ласковое прозвище Почесушник, и крысы, в большинстве своем, его избегали из-за паразитов – жадных полчищ блох и вшей и еще из-за вони – гнусной вони от старости, бедности, спермы, пота, смешанной с мерзким запахом дезинфекции и пестицидов, которые тут еженедельно щедро разбрасывали. Но для меня, с моим темпераментом, такая цена была не слишком высока.

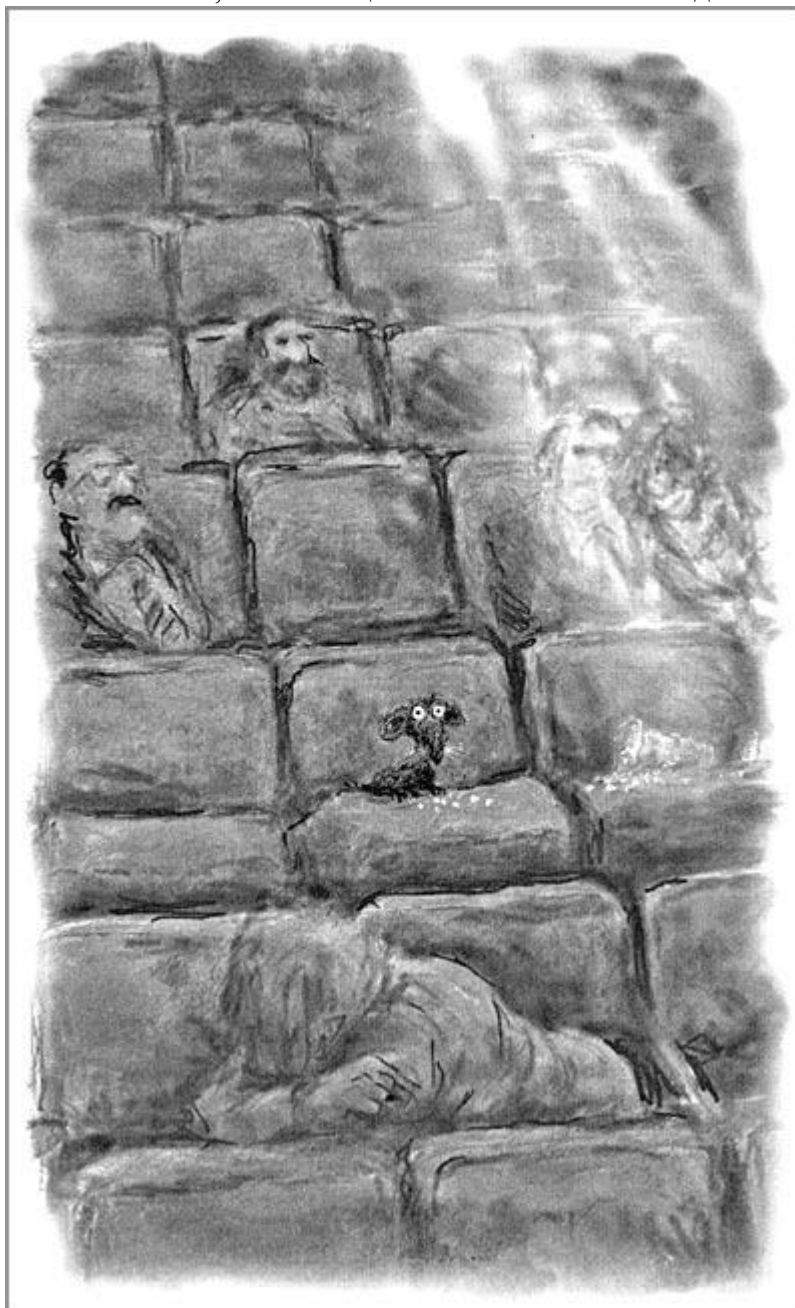
«Риальто» днем и вечером крутил старые ленты, в целом фильмов сорок, постоянно повторяясь, дабы соблюсти жалкое внешнее приличие. А потом в полночь, когда добропорядочные граждане и блюстители их нравов улягутся по постелям, а полицейские благополучно смотрят в другую сторону, переключался на порнографию. С первым ударом полуночи морозящий, поцарапанный Чарли Чан или Джин Отри³³ с треском замрут, бывало, не окончив жеста. Кромешная тьма, несколько кратких минут покашливания, шарканья, и – проектор оживет, жужжа, и даже самый звук его помолодеет и взбодрится. Впечатляющая перемена.

Несмотря на щедрость его даров, публики в «Риальто» всегда было маловато, я беспечно ползал по пустым рядам и с тонкой разборчивостью подбирал изысканнейшие яства, конфеты, попкорн, а то нападал и на нетронутую порцию хот-дога или ветчины (ночлежники часто с собой носили завтрак), покуда яркий луч проектора светил надо мной во тьме. Это изобилие харча для меня, конечно, было отнюдь не главной привадой «Риальто». Ибо по ночному экрану, голые, громадные, как амазонки, двигались создания, совсем как те, что поразили меня своею красотой на фасаде Казино несколько недель тому назад. Только здесь они не носили черных прямоугольников на груди и бедрах, здесь они не стыли в фотографической неподвижности. Здесь они двигались, живые, радужные, настоящие, и танцевали, а порой они извивались на коврах, изготовленных, надо думать, из животных куда шерстистей Элвиса. Извивались поодиночке, иногда с мужчинами – мускулистыми, дюжими, как громадные крысята, – чье вульгарное присутствие мне лично казалось неуместным, даже оскорбительным, – а то в объятиях друг у дружки. Как меня тянуло к этой нежной бархатистой коже – понюхать, прильнуть, попробовать на вкус; к этим густым

только в переносном, но и в вполне буквальном смысле слова.

³³ *Чарли Чан* – китаец-детектив, персонаж бесконечной серии дешевых голливудских фильмов, снимавшихся с 1926 по 1949 г.; (1907–1998) – актер, певец, наездник, едва ли не самый известный из так называемых «поющих ковбоев» Америки.

текучим волосам, зарыться и забыться. Да, я прекрасно понимал, что мои так называемые сородичи, те, кто отважился бы войти, могли подумать об этих лилейных существах. Там, где я прозреваю ангелов, они б увидели только уродливых животных, двуногих, вертикальных, тяжелых и пустых. И если бы они не рассмеялись, то это потому исключительно, что вообще они не смеются никогда.



Притяжение этих грозно пленительных существ так было сильно, что иногда я жертвовал часами, даже и днями работы в книжной лавке, чтобы только на них глядеть. Снова вынимаю свой телескоп. Дрожа от нетерпения, даю глазам освоиться с мерцающей тьмой. Вглядываясь в «Риальто» моей памяти и мечты, туда-сюда вращаю, настраиваю телескоп, пока не вижу наконец замкнутого в круге линз себя, но только помоложе, беспечного прогенитора нынешней развалины: держу кусочек чего-то, сникерса на вид, примостившись на сиденье в первом ряду среди храпящих пьяниц, жвачных оборванцев, слюнявых онанистов. Спокойненько жуя, наблюдаю постепенное совлечение одежд, вступительные колыханья, дикое верчение тех, кого привык называть просто «мои Прелестницы». Жую и созерцаю, созерцаю и жую, на пределе волнения, на вершине счастья. И мне нисколько не стыдно. Порою думается, что каждому в жизни нужно бы попкорна вволю, несколько Прелестниц и больше ничего.

Большую часть своих книг Норман приобретал на распродажах имущества, и это одно только и омрачало для меня книжный бизнес. По возвращении с такой распродажи обшитый изнутри деревом старый фургончик «бьюик», останавливаясь у двери магазина, скреб, бывало, бампером тротуар, так он тяжелеет и оседает под литературным грузом. Открыв дверцу багажника, Норман таскал в дом пачки, наваливал возле своего стола кипы по пояс, а в следующие дни открывал книги одну за другой и перышком выводил цену. Эта часть бизнеса меня бесила. Больше всего бесили дарственные надписи, которые я читал у него из-за плеча. «Милому моему Питеру на пятнадцатую годовщину нашей свадьбы» (на Рубайат Омара Хайяма³⁴). «Эта книга подарена мне незабвенной Вайолет Свейн, когда обеим нам исполнилось по семнадцать» («Над пропастью во ржи»³⁵). «Милой Мэри, да принесет ей эта книга утешение» (на «Проповедях» Джона Донна³⁶). «Помнишь ли ты о двух неделях нашего итальянского рая?» (на «Камнях Венеции» Рескина³⁷). «Безумие – лишь непонятая гениальность – молись же обо мне» (на «Песнях невинности» Блейка³⁸). «Я живу, я умираю; я жил, я умер; я умру, я буду жить» (на «Или – или» Кьеркегора³⁹). И в каждой пачке вот эдакого – навалом. Прямо неприлично. Надо бы хоронить книги вместе с владельцем, как в Египте, чтобы никто их потом не лапал, – дайте же покойнику что-то почитать на долгую дорожку через вечность.



В основном книги были дешевенькие, меньше доллара, однако Норман имел нюх на истинную ценность и – благодаря шишкам над ушами – дар скрытности. Приглядит по-настоящему дорогую книгу на такой вот распродаже, виду не подаст и уж изловчится купить ее за бесценок. Купит книгу за никель, а потом – рраз! – сунет в застекленный шкаф, а назавтра за тыщу долларов сбудет. Наведается к нему библиофил поглядеть, что у него имеется такого-эдакого, и уж конечно белые перчаточки нацепит, прежде чем хоть к чему-нибудь прикоснуться в этом застекленном шкафу. А ведь кое-что из того, что там на полках, Норман на днях буквально валял-трепал в своем фургоне. Только библиофилам об этом ни-ни! Сидят, величавые, как Папы, в своих белых перчаточках, держат томик трепетно, как новорожденное дитя, и рассуждают: источники, первые издания, автографы,

³⁴ *Омар Хайям*, Гиясаддин Абу-ль-Фатх ибн Ибрахим (ок. 1048 – после 1122) – персидский и таджикский поэт, математик и философ. Рубайат – его знаменитые четверостишия, которые он писал на протяжении многих лет.

³⁵ *Сэлинджер, Джером Дэвид* (1919–2010) – американский писатель, его роман «Над пропастью во ржи» написан в 1951 г.

³⁶ *Донн, Джон* (1572–1631) – английский поэт и священник, с 1621 г. – настоятель собора Святого Павла в Лондоне. Книга «Проповеди» составлена из тех проповедей, которые он первоначально читал своим прихожанам.

³⁷ *Рескин, Джон* (1819–1900) – английский писатель, искусствовед, историк, публицист. «Камни Венеции» (1851–1853) – трактат о зодчестве и галереях Венеции.

³⁸ *Блейк, Уильям* (1757–1827) – великий английский поэт (гениальный и безумный). «Песни невинности» – сборник стихов, изданный в 1789 г.

³⁹ *Кьеркегор, Серен Обю* (1813–1855) – великий датский философ и писатель. Трактат «Или – или» опубликован в 1843 г.

великий Розенбах.⁴⁰ Кое-кто из этой публики много чего знал об истории книг, но никто не знал столько, сколько Норман, и никак они не могли его надуть. Потрясающий человек. Я даже думаю, что он знал все, абсолютно все. Мысленно я уж давно снял ту надпись, которую к нему присобачил, – ХОЗЯИН ПИСЬМЕННОГО СТОЛА всего-навсего, и теперь рядом с его именем поместил две подписи: БОЕЦ и ДЕРЖАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ ЗНАНИЯ. А уж через эти коннотации с ключами был от Нормана всего один шаг к святому апостолу Петру. Так образ Нормана Шайна скрепился в моей душе с идеей святости.

И был еще один аспект в книжном бизнесе, приближавший Нормана Шайна к невидимому киномеханику «Риальто». Видите ли, кроме слегка подержанных книг на полках, сильно подержанных книг в подвале и редких книг в застекленных шкафах, были еще книги в старом железном сейфе перед Крысиной Норой. То были запрещенные книги, карманные издания в белых обложках издательств «Олимпиа-пресс» и «Обелиск-пресс», контрабандой ввезенные из Парижа. Их названия были – «Тропик Рака», «Богоматерь цветов», «Голый завтрак», «Моя жизнь и мои любовники».⁴¹ Любители таких книг едва слышно выдыхали авторские имена. Если Норман знает покупателя или, смерив его взглядом (они были сплошь мужчины), решает ему довериться, маска Брата Тука мигом с него сползет: круглые глаза сузятся, поджатый ротик вытянется жесткой щелью. И – здрасте, смотришь уже совсем другое кино – вот он вам, герой французского подполья, предъявляет подложный паспорт, или это воротила преступного мира сбывает краденые бриллианты. «Минуточку», – он говорит, и он быстро озирается. Потом, скорчась перед сейфом так, будто заслоняет, защищает содержимое собственным телом, выудит контрабанду, плюхнет в простой темный мешок, без всякой надписи на нем касательно «Книг Пемброка», а из открытого сейфа меж тем пахнёт Парижем – синими «Голуаз», красным вином, автомобильными выхлопами – и этот спутанный аромат взмоет под потолок и там смешается с запахом кофе. И я думал: милый Норман борется за свободу. Что доказывает, что даже и до знакомства с Джерри Магуном я был в душе революционер. И еще это доказывает, что я сам от себя скрывал тот очевиднейший факт, что Норман не только благородно рвался к свободе, но и срывал под эту музыку убийственный куш. Да, теперь-то я понимаю, противоречивый был характер. Но в ту пору я ни в ком не признавал противоречивого характера, кроме как в себе самом.

В результате всех этих впечатлений я буквально разрывался между «Книгами Пемброка» и «Риальто». Будто два храма боролись за мою душу: мудрецы и архаты с одной стороны, ангелы – с другой. Порой я сдавался на призывы одного, порой удалялся под сень другого. И, уступая обольщениям «Риальто», я нередко там проводил ночь напролет. И мог ловить черты рассвета, не имея притом нужды таскаться по светающим улицам. Среди вечных, заезженных черно-белых лент кроме Чарли Чана и Жене Отри были и вестерны, и гангстерские фильмы и мюзиклы, фильмы, с Жоан Фонтейн, Полетт Годар, Джеймсом Кегни, Эбботом и Костелло, и Фредом Астером. Механик был, между прочим, кажется, равнодушен к Фреду Астеру, он без конца его крутил, ну и очень скоро сам я тоже влюбился в Фреда. Когда бы ни показывали фильм с его участием, я неизменно оставался. Я твердо верил, что механик – тоже хранитель тайн, как Норман. Два храма, два жреца. Я жаждал его увидеть хоть на миг, но, увы, так и не сподобился этой чести.

⁴⁰ Розенбах, Авраам Симон Вольф (1876–1952) – легендарный книготорговец, библиограф и собиратель книг, получивший прозвище «Наполеон книжного мира». Знаменит своими невероятными сделками, например пять раз покупал и продавал Библию Гутенберга.

⁴¹ «Тропик Рака» (1934) – роман Генри Миллера, запрещенный в США «за безнравственность»; «Богоматерь цветов» (1942), в свое время шокировавший публику роман Жана Жене, французского писателя с удивительной биографией (неоднократно сидел в тюрьме за воровство); «Голый завтрак» (1959) – роман Уильяма Берроуза в духе модернизма, в свое время сочтенный в Америке аморальным; «Моя жизнь и мои любовники» (1922–1927) – предельно откровенный автобиографический роман Харриса Фрэнка в пяти томах.



Фред Астер стал для меня вдохновляющим примером – его походка, речь, его вкусы. И конечно, я в Джинджер Роджерс влюбился тоже, включил ее в число своих Прелестниц. Сплошь да рядом фильм с ее участием показывали перед самым полуночным апофеозом. В веющих шелках, сжимая вытянутую руку Фреда, мерцающая, явственно невесомая, Джинджер, застыв в *arabesk penché*,⁴² вдруг таяла во мраке ночи, как Эвридика.⁴³ А я, зажатый шаркающей, кашляющей, ее поглотившей тьмой, воображал, что она пропала навеки. И чувствовал настоящее – невымышленное – горе. И бог знает в какое бы я ударился отчаяние, до чего бы себя довел, если бы вдруг, под жужжание проектора – звук, от которого сердце дрожит сильнее, чем от вагнеровского «Полета Валькирий», – вдруг она снова была тут как тут, воскресшая из мертвых, голой взятая на небеса, и там извивалась на ковре. Чудо, чудо. О, как хотелось к ней приблизиться, молитвенно, с розой без стебля в лапах, смиренно сложить цветок в вазочку ее пупка, как жертвоприношение. Но, вероятно, все эти эмоции, все эти желания в своей безмерности при таком моем скромном телосложении мне были не по плечу – и, возвращаясь в свое убогое жилище на потолке книжного магазина, я себя чувствовал совершенно разбитым. Тяжела безответная любовь, но любовь безнадежная может просто dokonать.

Я по два дня не ел, ни маковой росинки. Я читал Байрона. Я «Грозовой перевал» читал, я имя свое сменил на Хитклиф.⁴⁴ Валялся навзничь. Разглядывал собственные пальцы. А потом снова с утроенной энергией, с головой уходил в работу. Я был Джей Гэтсби.⁴⁵ О, как я умел собраться и воспрянуть. Я продолжал свой бизнес. Внешне я был все так же ровен, любезен и непринужден, и кто бы догадался, что под этой маской я скрываю разбитое сердце?

Каждое утро мы с Норманом читали «Бостон глоуб». Прочитывали от корки до корки, включая объявления. Я стал ориентироваться в происходящем. Стал хорошо информированным гражданином, и, когда газета поминала о «широкой общественности», я чувствовал тонкий укол нарциссической гордости. Я учился ориентироваться в пространстве: когда вставал к стеклянному шкафу лицом, нос мой стрелкой целил в Провинстаун, через залив, хвост же, вдоль Роуд 2, метил в Фитчбург. И очень своевременно: прямо позади меня оставались выборы католика в президенты Соединенных Штатов, разоблачение шпионского заговора в России, кровавая бойня в Южной Африке, а впереди согласно «Глоуб» маячило ядерное уничтожение, еще большее укорочение юбок и разливанное море новых фильмов.

⁴² Наклонный арабеск (*фр.*) – балетная позиция.

⁴³ В греческой мифологии жена фракийского певца Орфея; она умерла, и Орфей живым спускается в подземное царство, чтоб вызволить ее оттуда, однако не в силах исполнить условия царя Аида (не оборачиваться), так и не спасает Эвридику. Эта мифологическая история стала темой множества литературных и музыкальных произведений.

⁴⁴ «Грозовой перевал» (1847) – роман Эмили Бронте (1818–1848); *Хитклиф* – главное его действующее лицо, батрак, приемыш, из-за унижений сделавшийся мрачным демоническим злодеем.

⁴⁵ Герой романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896–1940) «Великий Гэтсби» (1925).

И, что непосредственной меня касалось, – я узнавал, как дела у «Красных Носков»⁴⁶ и о планах по исчезновению Сколли-сквер. Исчезновения посредством усердного применения бульдозеров. Тяжко было читать про такое, особенно мне. В конце концов, то была моя жизнь, я не знал иной. Кем бы я стал без книжного магазина, без «Риальто»? Куда мне деваться, если их лишусь? Я видел, что Норману тоже нелегко, потому что он все время об этом говорил. Он говорил об этом с высоким плешивеющим Коном Диттером, хозяином «Кондитерской Кона Диттера» с нами рядом, и с плешивеющим толстым Джорджем Ваградяном, у которого было напротив совместное заведение – аптека и магазин занавесей под названием «Пилюли и тюли». Иногда согласно «Глоуб» уничтожение было возможно, иногда весьма вероятно, иногда оно планировалось, надвигалось, иногда было неминуемо. В дождливые дни, в отсутствие покупателей, оно, надо думать, особенно грозно нависало, потому что в такие дни три плешивые головы покачивались вокруг Письменного стола под Воздушным Шаром, пили кофе, говорили о том, что должно случиться и когда это случится, и – Бог ты мой, что же делать, когда это случится, – и горевали. Кон был любитель изящного слова, Джордж был любитель добрых сигар, и, пока они, стоя возле стола, беседовали с Норманом, «безмозглые жопы», «хрены безголовые» и «говноеды, лишённые вкуса» Кона Диттера в дыму Джорджевых сигар взмывали под потолок и там мешались с ароматом Парижа и кофе. Эти разговоры, естественно, отнюдь не способствуя спасению округа, обычно оставляли нас с Норманом в ужасном унынии, и по уходе друзей мы с головой погружались в работу, снимали книги с полки, их протирали. То есть это Норман, конечно. Что до меня, я лежал навзничь в постели и работал над своей поэмой «Ода к ночи».

Начиналась она так: «Горные вершины спят во мгле ночной».

Округа, которую «Глоуб» иногда называл исторической, но куда чаще «трущобной» и даже «кишащей крысами» (ей-богу!), являлась бастионом, стоящим поперек дороги к прогрессу, и потому мэр и городской совет хотели ее с этой дороги убрать и лучше всего для этой цели, оказывается, было сровнять ее с землей и закатать в асфальт. «Глоуб» поместил даже несколько картинок, как дважды два доказывавших, что, когда дело будет сделано, Бостон засияет, как Майами над серыми волнами порта. Сколли-сквер предполагалось заменить гигантским плоским куском бетона, а сверху, людям на устрашение, поставить форты правительственных зданий. Норман смотрел на эти картинки в газете и только головой качал. А над ним, на Воздушном Шаре, я тоже качал головой.



Разрушить такой кус города – работенка не из легких. Здания были старые и, пустив глубокие корни, упрямо противились искоренению. И стали мэр с городским советом приискивать подходящего человека, такого, который бы разобрался в специфике применения очень тяжелой техники к очень старым домам на очень узких улицах, и нашли они Эдварда Лога. У него было прозвище Бомбардир, потому что именно такую он исполнял работу во время Второй мировой войны. На Б-24. Так что он был не понаслышке знаком с самым большим в истории проектом городской реконструкции. Он послал мэру и городскому

⁴⁶ Бостонская бейсбольная команда.

совету фотографии Штутгарта и Дрездена⁴⁷ и заявил: «Я могу предъявить Сколли-сквер в таком же точно виде». Должность он получил. В газете поместили его огромное фото: стоит рядом с мэром. Держатся за ручки, но друг на друга не глядят – нежно улыбаются в объектив. Лог в самый раз годился для такого катаклизма. Увидав эту фотографию, я одел его в форму вермахта, не удержался, а потом уже я его произвел в генералы. А жизнь продолжалась. Одним глазом мы присматривали за бизнесом, другой не спускали с генерала Лога, и дух обреченности сгустился вокруг как ядовитый туман.

Глава 6



«Книги Пемброка» были очень даже известным магазином, местечком, куда порой заглядывают знаменитости. Не раз я слышал рассказы Нормана о том, как Джек Кеннеди, который стал Президентом Соединенных Штатов, заскакивал глотнуть кофейку и поболтать, когда был еще конгрессменом, а также и Тед Уильямс,⁴⁸ краса и гордость «Красных Носков». Эти двое – герои не моего романа. Но еще Норман любил порассказать о том, как знаменитый драматург Артур Миллер к нему зашел за экземпляром собственной пьесы. Вот при какой okazji я бы не прочь присутствовать. Я все надеялся, что он снова заглянет, а не он, так другой кто-нибудь – Джон Стейнбек, скажем, Роберт Фрост, а то и сама Грейс Металлиус собственной персоной. Небось жили все не за тридевять земель. Или хотя бы Роберт Лоуэлл,⁴⁹ этот жил совсем близко. Но тоже ни разу не зашел.

Только один писатель и заходил за все время моей работы в магазине, и сперва он меня разочаровал. Не знаменитый, нет, и Кон в разговоре с Норманом как-то бросил буквально ему в спину: «Этот богемистый тип». В то время я был еще ужасно буржуазен, и не такие меня определения вдохновляли. Правда, Норман, с другой стороны, назвал его как-то раз экспериментальным романистом, но, может, это он пошутил. Обычно он его обзывал психом и пьяницей. Этот писатель жил наверху, над книжным магазином, но я тогда этого не знал – я даже не знал, что существует какой-то верх. Вы туда попадали через дверь между «Книгами Пемброка» и «Дворцом Татуировки». Эта дверь была под КВАРТИРАМИ, и верхняя часть самой этой двери была из матового стекла, а по стеклу полукругом золотыми буквами написано: ДОКТОР ЛИБЕРМАН, ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕЗ БОЛИ. Обыкновенно, когда писатель этот заходил в магазин, он ужасно спешил еще куда-то, иногда аж в такую даль, как

⁴⁷ Немецкие города, во время Второй мировой войны превращенные в руины авиацией антигитлеровской коалиции.

⁴⁸ *Теодор* (Тедди) *Уильямс* (1918–2002) – прославленный американский бейсболист, один из лучших бэттеров в мировом бейсболе; в 1946 и 1949 г. получил звание «самого ценного игрока», обладатель престижного приза «Тройная корона».

⁴⁹ *Роберт Лоуэлл* (1917–1977) – американский поэт и романист, родился и жил в Бостоне.

Харвард-сквер в Кембридже, через реку, и направлялся он туда на старом-престаром велосипеде, с большой плетеной корзиной спереди на раме. У велосипеда были зеленые колеса, а на руле, посередине, белая кнопка в качестве звонка. Не знаю даже, действовал ли этот звонок. Часто писатель оставлял свой велосипед, прислонив к витрине, невзирая на тот факт, что Норман настоятельно просил не прислонять. Я не знал, как расценивать такую черту, вследствие чего сперва принял сторону Нормана и отнесся к писателю без особого уважения. Был он уже в годах, и я считал, что ему бы лучше не откладывать дела в долгий ящик, если он решил прославиться. Вот до какой степени я тогда был типичный буржуа. Больше я не видывал мужчины с волосами до плеч, он единственный. Волосы эти поседели, поредели, он их на лбу перехватывал синей ленточкой, как индеец. В остальном на индейца был нисколько не похож. Звали его Джерри Магун. Маленький, плотный, большая голова. Ирландский, отнюдь не выдающийся носик, моржовые усы по краям большого тонкогубого рта, и синие глаза, причем один всегда смотрел в сторону. Разговариваешь с ним и никогда не знаешь, смотрит он на тебя или не смотрит. И вечно он был в одном и том же мятном синем костюме при вязаном черном галстуке. Какое-то двойственное впечатление: ну хорошо, если уж ты так стремишься выглядеть прилично и опрятно, зачем же, спрашивается, в выходном костюме спать?

Если бы не костюм и не галстук, вылитый был бы золотоискатель, ну в смысле старатель из одного вестерна, который показывали в «Риальто», и, пока еще не знал его имени, я его всегда так и называл – Старатель. Потом-то я его назвал – Лучший Человек на Свете. Он часто к нам заходил за время моей работы в магазине. Был из завсегдатаев и застревал надолго, особенно в подвале, где самые дешевые книги, – вытянет томик, полистает, втиснет обратно, а иногда, если что приглянется, так, не отходя от полки, и прочитает до конца. Читая, бормочет, бывало, про себя, качает своей большой башкой. До Кембриджа небось на велосипеде путь неблизкий, ну и, старый человек, я так думал, он в дорогу не спешил. И Норман, по-моему, был не против. Скоро мне пришлось на ум, что Норман, собственно, душевно привязался к этому писателю, ну, а раз так, и я тоже к нему душевно привязался.

Иногда возьмет и поможет Норману разгрузить полный фургон книг, а как-то, было дело, Норман ему заплатил, чтоб вымыл ветровое стекло. И уж он постарался. Обычно он ничего не покупал – по крайней бедности, ясное дело, – но в один прекрасный день, ранней весной, ушел с большущей, набитой книгами сумкой. Что там в сумке, я, конечно, прозреть не мог, но в тот же вечер без труда все восстановил по запискам на полках. Сплошь – религия и научная фантастика: «Путь человека согласно хасидизму» Мартина Бубера, «Я – робот» Азимова, «Оружейные лавки» Ван Вогта, «История эсхатологии» Бульмана и «Граждане Галактики» Хайнлайна.⁵⁰ Кое-что из этого я и сам обожаю. В следующий раз он дочиста подскреб все книжки, какие у нас были про насекомых. Тут уж Норман спросил, когда все это засовывалось в сумку, над чем он сейчас работает. Я чуть с Воздушного Шара не шмякнулся, когда услышал ответ.

– Да вот, новый роман затеял, – сказал Джерри, – про крысу одну. Из шерстистых. Сильно не по вкусу им придется.

Норман засмеялся.

– Продолжение? – спрашивает.

И Джерри ему отвечает:

⁵⁰ Бубер, Мартин (1876–1965) – австриец еврейского происхождения, философ-экзистенциалист, толкователь хасидизма и Ветхого Завета, писатель и переводчик; Азимов, Айзек (1920–1992) – американский писатель-фантаст и ученый, роман «Я – робот» написан в 1950 г.; Ван Вогт – канадский писатель, научный фантаст; Бульман, Рудольф (1884–1976) – немецкий протестантский теолог, наиболее влиятельный в XX в. исследователь Нового Завета; Хайнлайн, Роберт Энсон (1907–1988) – американский ученый и плодовитый писатель-фантаст, автор более пятидесяти романов и множества рассказов и повестей. Вместе с Азимовым и Кларком поднял жанр научной фантастики на прежде недостижимую высоту.

– Нет, тут совсем о другом пойдет история. С очевидностями покончено. Надо двигаться, понимаете ли. Как акулы. Остановишься – утонешь.

Норман, видимо, понимал, потому что он только головой кивнул и подал Джерри его книги.

И с тех пор, едва придет новая партия книг, я всю ее, бывало, разворошу в поисках романа Джерри Магуна. Ведь случаются же чудеса, о, я в это твердо верил. Собственно, я в этом убеждался изо дня в день, когда живой-невредимый возвращался домой со Сколли-сквер, воссылая к небесам вздох благодарности за очередное чудо, и я снова в этом убедился, когда наконец мне под лапу попал этот роман. Дешевая книжонка, 227 пожелтелых страниц. На обложке, на канареечном фоне – Нью-Йорк, весь в пламени, и над полыханием горизонта, в клубах дыма – колоссальная крыса, выше Эмпайр-стейт-билдинг, красные глаза, кровь капает с клыков. Кровавыми мазками по верху обложки выведено:

«Подменыш». А в самом-самом низу – даже оскорбительно, какими махонькими буквами, – имя Д. Магун. Потом-то, когда уж книгу прочел, я понял, что там у них в «Астрал-пресс», который это дело опубликовал в 1950-м, видимо, истинный талант к гиперболам – никаких таких гигантских крыс в книге нет и в помине, хотя пылающих городов под конец хватает.



В столетие, предшествовавшее нашему времени, тонкие и немислимо интеллигентные обитатели Акси-12, планеты, расположенной в отдаленнейшем углу нашей Галактики, взялись посылать исследовательские космические станции с роботами на борту для изучения Земли, единственной планеты во всей Галактике, кроме их собственной, где наблюдаются высшие формы жизни. Ну вот, значит, эти станции насобирали безумное количество всяких данных о Земле и населяющих ее существах, и в конце концов аксионы решили, что теперь самое время наладить с землянами непосредственную связь, хоть и отдавали себе отчет в том, как это будет непросто. Аксионы, существенно превосходя землян по части морали и интеллекта, имеют несчастье – то есть это, с землянской точки зрения, несчастье – выглядеть как садовые слизняки. Притом размером они с шетландских пони. Существам столь интеллектуальным, им, конечно, хватает здравого смысла понять, что подобная внешность может навести землян на совершенно ложные выводы относительно превосходящего ума и высшей морали аксионов. И даже вполне вероятно, что земляне просто-напросто откажутся водить дружбу со слизняками, тем более с шетландских пони величиной. К счастью, эти высшие слизнякоподобные существа владели продвинутой протоплазменной технологией преобразования, а потому на Акси-12 было принято решение послать на Землю в составе исследовательской экспедиции дюжину аксионов, предварительно преобразованных в доминирующий на Земле вид. Более того, дабы эти исследователи могли в совершенстве овладеть языком и освоиться с обычаями землян, посланы они туда были младенцами, инопланетными Подменами, с тем чтоб ни о чем не подозревавшие земные матери их воспитали, как своих собственных. Откуда и название книги. А когда уже эти Подменыши станут взрослыми, владея языком, зная обычаи Земли, имея друзей-знакомых – и даже, между прочим, родителей, братьев и сестер, – среди доминирующего вида, вот тогда-то они и послужат посредниками в мирных переговорах между землянами и аксионами.

Ну чем, кажется, плохой план? Но, к сожалению, несмотря на десятилетия анализа и шпионства, аксионские исследователи-роботы допустили глупую ошибку, ложно заключив, что доминирующим видом на земле является норвежская крыса. И вследствие этой ошибки в один прекрасный день 1955 года дюжина ничего не подозревавших крысиных самок с охотой приютила у себя равное же число протоплазмически преобразженных аксионов, отныне не отличимых от естественных крысиных отпрысков. Дети-аксионы скоро распознают эту ошибку. Отчаянные Подменыши, однако – под водительством удалого Альяка, – геройски пытаются довести свою миссию до конца, то есть наладить связь с представителями доминирующего вида, к которому, как теперь они, увы, убедились, на Земле относятся люди. Дальше в книге идут подробные описания их ужасных смертей от рук этого беспощадного вида, хотя настоящие крысы, считая аксионов родней, предпринимают самоотверженные попытки их спасти. И каждый раз, когда на Земле убивают аксиона, точное изображение его гибели телепатически передается через всю Галактику на

Акси-12, и так душераздирающе эти картины, что даже миролюбивую и высоконравственную аксионскую публику они выводят из себя. Их космическим кораблям, правда, требуется несколько лет, чтоб достигнуть Земли, но, добравшись туда наконец, они ее превращают в пылающий шар. Вот откуда горящие города на обложке. В эпилоге, отнесенном к 1985 году, люди уже погибли, все до единого, вместе с другими крупными плотоядными, и на обугленной, разоренной планете самодержавно царит норвежская крыса.

Я закрыл «Подменыша» и на него сел. Я чуть не разрыдался, и рядом с именем Джерри я поместил слова ДРУГ ДУШИ и ОДИНОЧЕСТВО. Теперь я понял, что большая плетеная корзина спереди на велосипеде нужна ему на то, чтоб в ней развозить необъятную свою тоску, а глаз, кося на сторону, вечно разглядывает пустую никчемность жизни человеческой и бесконечность времени и пространства – никчемность и бесконечность, и он их в своей книге сплавил под названием – Великая Пустота. Ну, вы можете себе представить, как благодаря этой книге возросло мое самоуважение. Довольно, хватит мокрых мест в джунглях, довольно, хватит бессмысленных слов и жестов – меня подхватила и понесла совсем иная волна. К этикеткам ИЗВРАЩЕНЕЦ, УРОД, ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ ГЕНИЙ я теперь смело мог прирастить обеляющее прилагательное ИНОПЛАНЕТНЫЙ. О, какое это облегчение, когда, глядя одинокими ночами на звезды, видишь в них не прежние льдышки, горящие в Великой Пустоте, но теплящиеся окна родного далекого дома. К сожалению, к сожалению, инопланетянство не влечет за собой ощутительных выгод по части богатства и славы, не повышается благодаря ему и вероятность, что провлачишь спокойно хотя бы день, и не свалятся на голову беды. Ну и вдобавок я, между прочим, во всю эту историю не очень-то и поверил.

В рабочие часы, если я не спал или не свешивался с Воздушного Шара, вы меня легко могли найти на Балконе. Ничто из происходившего внизу, в магазине, не ускользало от моей наблюдательности. Когда торговля у Нормана шла особенно бойко, о чем то и дело возвещала веселым звоном узорчатая старинная касса на прилавке у входа, я всплескивал лапами и кричал в душе: «Молодчага, Норм! *Находящиеся в положении вне игры приветствуют тебя*».

«Книги Пемброка» – был большой магазин, четыре набитые книгами комнаты, не считая подвала, и Норм все тут знал как свои пять пальцев. Но и у него случались проколы. И он порой искал и не находил, вонзал в полку рапиру, но ничего не вытаскивал. И тогда на него прямо жалко было смотреть. Особенно запомнился мне один случай. Дичью была тощенькая «Баллада о невеселом кабачке».⁵¹ Охотницей – карлица, молоденькая, в верблюжьей пальто, которое стояло вокруг нее колом, стояло как вигвам и волочилось по полу. Подол весь заляпан грязью. Немножко она потолклась, якобы занятая разысканиями,

⁵¹ Американская писательница Карсон Смит Маккаллерс (1917–1967) написала свою знаменитую «Балладу о невеселом кабачке» в 1951 г.

но, по-моему, просто набиралась духу, чтобы открыть рот. Не успела она озвучить свою просьбу – если слово «озвучить» подходит к ее стесненному шепоту, – Норман повернулся на каблуках, твердо шагнул к полкам, где вянули в бумажных обложках карманные издания романов, протянул вперед руку и заранее скрючил толстые пальцы. Вы буквально предвкушали, как книга спрыгнет с полки к нему на ладонь. Только на сей раз напрасно вы предвкушали. На сей раз церебральная система команды-исполнения не сработала. Вы прямо слышали, как в голове у Нормана клацнул разлаженный аппарат. Книга никакая не спрыгнула, ни на чем не сомкнулись пальцы. Со все возрастающей тревогой я следил за тем, как он оглядывает полку, где должно быть искомое сочинение, отстукивает по корешкам нервным указательным пальцем, как бы их пересчитывая, потом обрыскивает полки снизу и сверху, и вальяжная уверенность меж тем переходит постепенно в дерганое смятение. Когда наконец каждому было ясно, что книга просто отсутствует, печально отсутствует, очевидно отсутствует, мужественные плечи Нормана безысходно поникли.

– Что ж, я думал, у нас это имеется, но, видимо, ошибся. Прошу прощения.



Он пробормотал это в пол у себя под ногами, не в силах глянуть разочарованной клиентке в глаза. Он был, очевидно, ужасно расстроен, и я понимал, что он расстроил и бедную карлицу, которая, конечно, уж сама была не рада, зачем попросила этот свой «Кабачок». О, как мне тогда хотелось выпрыгнуть из моего укрытия, крикнуть: «Да здесь эта книга, мистер Шайн – в глаза-то, конечно, я звал его мистер Шайн, исключительно, – здесь она, к кулинарным книжкам прибилась». Заикаясь от потрясения, он говорит: «Н-н-но откуда вы з-знаете?» А я в ответ: «„Книги Пемброка“ для меня не только бизнес – это мой дом, сэр». Он потрясен до глубины души, он глубоко растроган. И это только начало. В моих мечтах он меня берет в ученики. Я быстро восхожу по служебной лестнице. На мне зеленый козырек для защиты глаз. Я очень недурен в этом козырьке, когда, засиживаясь далеко за полночь, разгребаю бумаги, – по-моему, вылитый Джимми Стюарт⁵² в «Жизнь прекрасна».

Новости из внешнего мира меж тем приходили неутешительные. Согласно «Глоуб» генерал Лог представил городскому совету окончательный план сражения. Адвокаты нескольких обреченных семейств на западе Сколли-сквер продолжали битву, но дело их заранее считалось проигранным. В июне городской совет принял резолюцию: через несколько месяцев начнется разрушение. Долгие ряды тяжелых машин стояли по окраинам, начищенные, в боевой готовности. Чуть не каждую ночь после этого постановления городского совета горел какой-нибудь дом – хозяева пытались сократить убытки. Сирены выли, дым стоял столбом, на улицах не продохнуть. Я продолжал работать над своей «Одой к ночи». Мысленно я ее называл «Его знаменитая „Ода к ночи“». А Норман, притом что магазин на грани гибели, Норман знай себе покупал книги. Потому, наверно, что тоже в общем-то акула – лишь бы не утонуть.

Я всегда был мечтатель, такая уж натура. Впрочем, учитывая мое положение, спрашивается, кем же еще мне быть? Кстати, когда надо, я умел твердо стоять на земле всеми четырьмя ногами. И потом, продрогший на ветру, промокший под моросью сумрачной реальности – я мучился от мысли, что ничем не могу помочь старине Норману. «Ощущение несостоятельности и источники депрессии у представителей мужского пола». И стал я носить в дом мелкие такие подарочки. Как-то, изучая попкорн на полу в «Риальто», нашел золотой перстенок. Такой, в форме сплетенных двух змеек. В центре две змеиные головки,

⁵² Стюарт, Джеймс (1908–1997) – популярнейший американский актер, в десятках ролей варьировавший образ неотразимого, мужественного и положительного истинного американца.

прильнув одна к другой, глядят в противоположные стороны. Глазки – маленькие изумруды. Я, конечно, мог положить перстень на такое место, где его нашли бы уборщицы, но нет, не положил. Собственно говоря, я его присвоил, стибрил, без малейшего зазрения совести. Уж давно я нащупал у себя на черепе длинный такой бугор, буквально гряду, которая согласно

Гансу Фуксу – это мужик, который первым приспособил учение Галя для пошлых полицейских нужд, – является верным признаком «криминальных наклонностей» и «морального разложения». Действительно, если не считать одного очевидного несоответствия, я тютелька в тютельку подхожу под категорию, обозначенную Фуксом как *monstrum humanum*,⁵³ а это самый низменный преступный тип. Я понял, что нет никакого смысла вовлекать мою совесть в борьбу, в которой она обречена на поражение. Как уже сказано, я могу, когда надо, быть очень даже практичным. Ну вот, взял я этот перстень, отнес домой, положил на стол Норману рядом с кофейной кружкой, и наутро он его обнаружил. Зажал между большим и указательным пальцами и долго разглядывал, даже примерил – вытянул руку, туда-сюда повертел, как женщина. Потом сунул в ящик стола. Я-то думал – сочтет, что кольцо потерял покупатель, – и все ждал, когда он сунется в какую-нибудь газету, найден, дескать, перстень, обращаться туда-то. Ан ни в какую он газету не сунулся, а неделю спустя смотрю: этот самый перстень у него на пальце.

И еще как-то было: плетусь домой из «Риальто», уже дело к рассвету, и вдруг вижу мужчину и женщину на Кембридж-стрит, а кроме них вокруг ни души. Она на него буквально бросается, кричит и кричит «блядун, блядун проклятый», и каждый раз, как отвесит ему «блядуна», ногой топнет, будто счет ведет, сколько «блядунов» подряд ему влепила. Мужчина качается, хочет ее обнять за плечи, а она его руку стряхивает, стряхивает. Он, видно, хорошо нагрузился, судя по тому, как его качало. А на ней серебряные такие туфельки, высоченные каблуки, и вспомнил я своих Прелестниц, и мне ее жалко стало. Я был внутренне на ее стороне, готов за нее заступиться, чего бы мне это ни стоило, любой ценой. Глупости, глупости, хватит, да велика ль цена заступничеству мелкого вороватого крысля, и на кой ляд оно нужно хорошенькой женщине? А в руке у нее был большущий букет желтых роз, и, повторив своего «блядуна» раз пятнадцать, она вдруг как хлестанет его букетом по мордасам, все розы рассыпав, и – на другую сторону улицы, бегом, бегом, и поскорей в подземку. Я крикнул молча: «Так тебе, гад, и надо!» Он постоял немного, покачиваясь, как на легком ветру, среди роз, желтым пламенем дотлевавших на тротуаре. А потом он стал их давить, наступит на каждую носком ботинка, весь дергается и вжимает, вкручивает в тротуар. И рот, почти точно, как в зеркале, отражает эти его усилия – тоже дергается и вжимается. Та топала, этот дергается, давит. Ни единой не пощадил. А потом поплелся прочь. Я обождал немного, удостоверился, что он не вернется, и уж тогда подкрался, сцапал розу, которая была поменьше других изувечена, отнес домой, а там расправил, как мог. Почти уже впритык к самому открытию магазина я ухитрился ее поставить в кофейную кружку у Нормана на столе. Я с удовольствием бы и водички налил, но что мне недоступно, то недоступно.



Наблюдая первое впечатление Нормана от моей розы, я понял, что, кажется, перегнул палку. Он откровенно испугался. Смотрит на непонятную желтую розу у себя в кофейной чашке, глаза вылупил, потом стал озираться, даже под стол опасливо так заглянул, будто сейчас кто-то из-под него выскочит. Вынул розу из кружки, положил на стол. И все утро он

⁵³ Человеческое чудовище, чудовище в образе человека (лат.).

озирался и дергался, и бросал на розу беглые взгляды, будто ожидая, что она сама объяснит странный факт своего присутствия, а после завтрака ее выбросил в мусорную корзину. Сюрприз мой не удался. Дар был не ко двору. Вместо утешения я поставил Норману новую пищу для беспокойства, в чем искренне и раскаялся. Больше подарков я ему не дарил.

У меня всегда немножечко были не все дома, но, успокойтесь, я не умалишенный. Тут вы поднимаете бровь, да хоть обе брови под самый лоб задерите, на здоровье, факт остается фактом, мечты наяву и разные пунктики – дело одно, ненормальность – совершенно другое. И вовсе я не из таковских, нет, чтобы рехнуться и этого не сознавать. Многие есть и гораздо похуже меня. Я это не с потолка взял, заимствовал из вполне авторитетного источника, а именно у Петера Эрдмана, автора исследования «Я сам как другой». В этой работе доктор Эрдман приводит подлинные истории, про невозможных, скажем, жирняев, которые, стоя перед зеркалом, видят лилейную стройность парижских манекенщиков, или про других, жутких кошечек, которые в зеркале видят свои обольстительно пышные формы. И ведь видят, видят, то-то и оно. Вот что такое сумасшествие. А у меня лично проблема как раз не с зеркалом – где неизменно, когда ни глянь, живет себе жалкий тип без подбородка, – а с моим образом совсем вне зеркала, который вижу, когда лежу навзничь, оглядываю свои пальцы и сам себе рассказываю удивительные истории, словом, занят тем, что зову мечтами, то есть – беру бесформенный, бессмысленный жизненный ком, замешиваю, раскатываю, леплю, придаю ему начало, конец, середину. В моих мечтах есть всё, решительно всё, то есть кроме того уродца в зеркале. Когда чеканю в мечтах такую вот примерно фразу: «Музыка смолкла, и в тишине все взоры устремились на Фирмина, который стоял на пороге бальной залы, невозмутимый и гордый», – я разве крыса-недомерка без подбородка вижу на пороге бальной залы? Это производило бы совершенно не тот эффект. Нет, я всегда вижу кого-то, точь-в-точь похожего на Фреда Астера: тонкий стан, длинные ноги и подбородок, как носок сапога. Иногда я даже одеваюсь под Фреда Астера. В данной сцене конкретно я во фраке – лакированные бальные туфли, цилиндр. Небрежно скрестив ноги, томно опираюсь на трость с серебряным набалдашником. По-вашему, трудно держать в таком положении бровь? Иногда, заглядывая к Норману на чашечку кофе, надеваю бежевый кардиган, мокасины с кисточками. Откидываюсь в кресле, забрасываю ноги на стол, и мы говорим, говорим, говорим – о книгах, о женщинах, о бейсболе. К этой картинке я прикрепил:

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СОБЕСЕДНИК. А порой, тоже вылитый Астер, но теперь разочарованный, устав от светской суеты, свесив с губы «Лаки Страйк», как француз, бешено терзаю старенький свой ремингтон. Люблю треск каретки, когда выдираю одну страницу и темпераментно вставляю другую. Буду сочинять, сочинять без конца, расскажу вам про стук в дверь и как входит Джинджер, опишу ее робость и бутерброд с сыром, который она для меня приготовила, ее выражение глаз. Могу вам пересказать даже все, что написано на страницах в кипе, нарастающей подле пишущей машинки.

Есть такое место в «Призраке оперы»⁵⁴ – там этот призрак, этот великий гений, прячущийся от глаз из-за своего невообразимого уродства, говорит, что больше всего на свете он хотел бы пройтись вечером по бульвару под руку с хорошенькой женщиной, как самый заурядный обыватель. По мне – это самое трогательное место во всей мировой литературе, хоть Гастона Леру великим не назовешь.

Глава 7

⁵⁴ Роман, сделавший знаменитым имя французского писателя Гастона Леру (1868–1927).



Что ни неделя, газета приносила все более удручающие новости относительно так называемой реконструкции Сколли-сквер. Многие местные предприятия уже позакрывались, предварительно избавясь от остатных товаров на тотальных распродажах, и стояли теперь темные, пустые, под укрытием фанерных щитов, прочие же просто-напросто сгорели дотла. А Норман все равно тянул свою лямку. И перепадали нам еще славные деньки, хоть и не такие, как прежде. Даже в ясную погоду покупателей поубавилось, а в пасмурь Норман теперь даже и не вытаскивал свои индюшачьи перья. Иной раз замечаю: клиент сдувает пыль с книги прежде, чем ее открыть, а Норману хоть бы хны, и бровью не ведет. Продолжал трудиться, но вы ясно видели, что без души, – тянул лямку.

И я продолжал трудиться. Когда бизнес в упадке, у вас больше времени для построения мечтаний. О, мечтания грандиозные были, прямо целые романы. Бывало, весь день напролет корплю над единственной сценой. Положим, завтрак на траве. Или лето 1929 года, вот-вот экономика рухнет, а никто и не знает. Как они одеты? Какая мода? Обувь? Подштанники? Стрижки? Что собой представляют автомобили? Сиденья на ощупь? Цены на газ? А книжку хоть один кто-нибудь с собой прихватил? С чем у них бутерброды? Во что обернуты? Какой бренд сигарет? Соды? И что там за птичка поет? На каком упряталась дереве? О, это все для меня теперь было раз плюнуть, как дважды два, пара пустяков. Я пробирался мечтой в такую недостижимую, непостижимую даль, как Тан в Китае, как Мачу Пикчу,⁵⁵ как семьдесят третий этаж Эмпайр-стейт-билдинг.

Поздно ночью я увлечен мечтой своего безумного французского поэта.⁵⁶ Я – или это он, или Фред Астер, какая разница, – потерял ногу, сражаясь на стороне Парижской коммуны. Годы невыносимых болей и абсента довели его – меня, нас – до безумия. В данной сцене, происходящей в дождливую ночь, мы его видим на узкой парижской улице, и он стучит кулаком в парадное, – о, чей это дом? – а дом принадлежит Саре Бернар, великой французской актрисе. В другой руке, обернув клеенкой по случаю ливня, он сжимает фрагменты великой сумасшедшей своей «Ode à la Nuit». Я был в подвале, читал в Британской энциклопедии про Сару Бернар, как вдруг меня спугнул звук отворяемой входной двери. Нырнув в нору прашуров, я взобрался по чернильно-черным стропилам и достиг Балкона в ту самую секунду, когда Норман вешал свой дождевик. А-а, значит, в Бостоне тоже шел дождик с утра. Никогда еще Норман не возвращался в магазин после закрытия, и я смотрел, сам не свой, как он мечется от стеллажа к стеллажу, озираясь так, будто в жизни здесь не бывал. Потом сел в свое кресло. Сел на знакомую красную подушечку, протянул по столу обе руки и стал плакать. Беззвучно, не пряча лица. И слезы

⁵⁵ Династия *Тан* – древняя великая китайская династия (618–902); *Мачу Пикчу* – древний город инков высоко в горах, покинутый обитателями и на века затерянный; развалины обнаружены в 1911 г. и до сих пор изучаются археологами.

⁵⁶ Герой по всем признакам вымышленный, несмотря на обманчивое сходство с Полем Верленом.

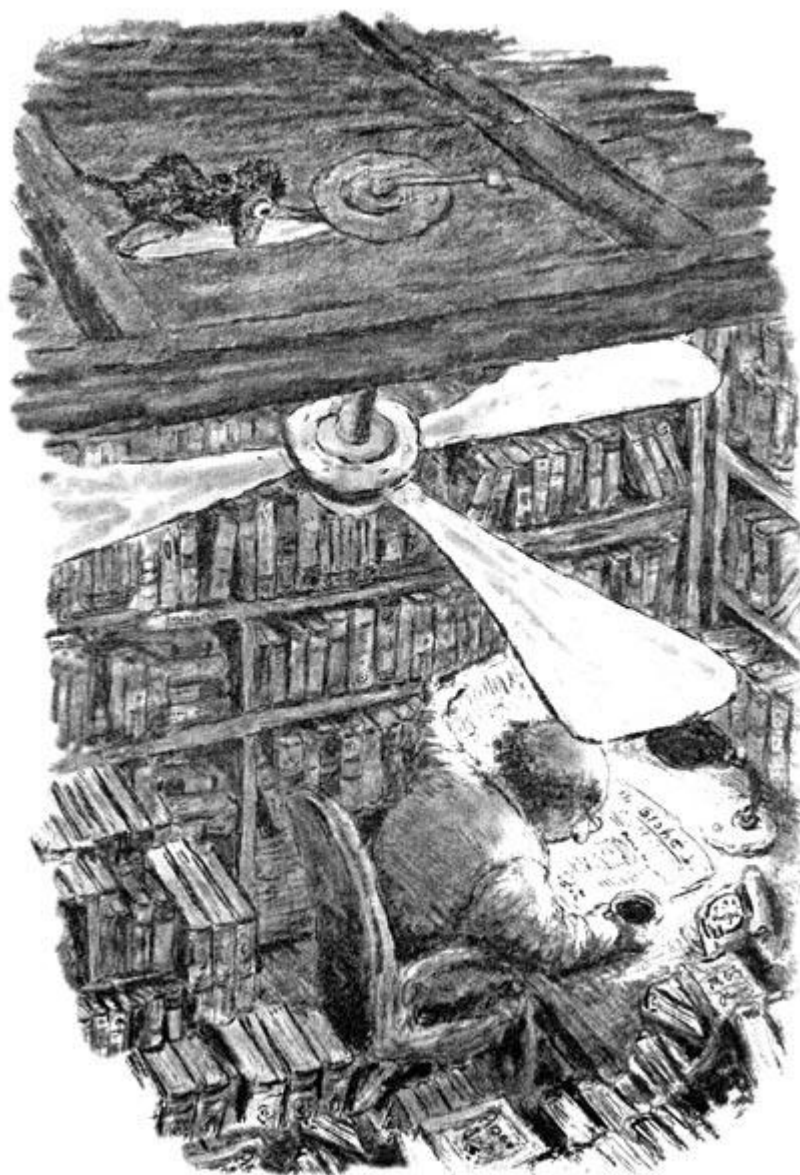
тихо стекали, мешаясь с бусинами дождя, по щекам, подбородку и падали на рубашку. Я молча воззвал: «Мужайтесь, мистер Шайн. Завтра будет новый день. Без глупостей, сэр». Мне было так скверно, что ничего не лезло в голову, кроме плоских клише. Я подумывал даже, не броситься ли мне вниз головой с Воздушного Шара, лишь бы его развлечь.

Но вот к чему я действительно был готов, что, собственно, чуть ли не совершил, был на грани – выскочить из Крысиной Норы, броситься к его ногам, о, и я целовал бы, целовал, как безумный, его ботинок. Он был бы глубоко тронут. Расставаясь с магазином, он взял бы меня с собой. Странно, ну до чего порой доходят наши заблуждения. Что на самом деле подумал бы Норман, выскочи вдруг из-за сейфа крыса и вцепись ему в ногу? Нет, в реальном мире есть пропасти, каких не перейти.

Жизнь коротка, однако при известной сноровке можно успеть поднабраться кой-какой премудрости, прежде чем откинешь копыта. Вот, например, я сделал такое открытие, что противоположности сходятся. Великая любовь превращается в великую ненависть, тихий мир взрывается шумной войной, долгая скука разряжается диким восторгом. Так и у нас получилось с Норманом. Пожалуй, тот вечер в магазине, когда Норман плакал, а я, чуть не плача, парил над его головой, был кульминацией наших отношений, минутой наибольшей близости. Великая близость порождает великое отчуждение. То было в субботний вечер. По воскресеньям магазин бывал всегда закрыт, так что на другой день я не видел Нормана. В воскресенье, когда вернулся из «Риальто», меня тошнило. Скорей всего из-за тухлой сосиски. Между прочим, не впервой, и я не слишком тревожился. В понедельник утром мне действительно полегчало, но все же чуть-чуть подташнивало, и вечером я не рискнул тащиться в «Риальто», хотя таким образом обрекал себя на голодовку до самой вторичной вечерней вылазки. Норман снова сидел за столом с газетой и с кофе, а я, на Воздушном Шаре, высматривал в нем признаки печали. Я пристально наблюдал: вот медленно поставил кофейную кружку, так медленно, что лишь легкая рябь тронула правый глаз над щекой, плывущей по коричневой жиже, как кувшинковый лепесток. Я смотрел на него, задаваясь вопросом, не таит ли в себе такая странная замедленность жестов свежих симптомов горя?

Из-за моего отвращения к зеркалам я так и не удосужился как следует изучить законы отражения и преломления световых лучей. И потому не вдруг сообразил, что раз я вижу его глаз, значит, и он видит мой. Забывая о возможных следствиях этой роковой симметрии, я продолжал беспечно перегибаться через край Воздушного Шара, а Норман тем временем снова откинулся в кресле и сложил руки на затылке, как бы потягиваясь. Он смотрел теперь прямо в потолок, и на долгую минуту его взгляд, темный и мрачный, скрестился с моим, черным, остро-блестящим. *Ужас и узнавание.* Потом я втянул голову в плечи, отпрянул во тьму между стропил и затаился, накрытый волной страха и восторга. *Он меня увидел!*

Что-то будет? Как теперь он поступит? Я более не одинок в этом мире. Попытался восстановить в памяти его глаза. О чем они мне сказали? Задним числом представлялось, что я увидел в них любовь. Умный, тонкий Норман, конечно, способен глянуть мимо скошенного подбородка, мимо волосатых щек, да, конечно, можно не заметить остроблестящих глаз и увидеть за ними родственную душу художника и бизнесмена.



Остаток дня я провел в глубоком затворе. Только услышав, как Норман хлопнул дверью магазина, как хрустнул ключом, как на тротуаре отстучали и стихли его шаги, я спустился с Воздушного Шара и огляделся. Еще в апреле я натаскал на Балкон из прежнего семейного гнезда рваной бумаги и устроил себе из нее креслице. Как славно было посиживать, наблюдать, что творится внизу, в магазине. Порой я оставался там даже и после закрытия и предавался мечтам, покуда медовый вечер медленно, до краев, заполнял магазин странно-воздушной печалью. Я полюбил густеющие тени хандры, которая, ниоткуда, всегда на меня в те часы нападала. Однако в тот именно вечер, о каком речь, я с ходу заметил, что, пока я, дрожа от надежды и страха, таился между стропил, Норман нанес сюда тайный визит. Кресло, вандальски искалеченное, было грубо отпихнуто в сторону, рядом насыпана небольшая кучка непонятной еды. Горстка такая – цилиндрических, неоновозеленых комочков. Пахли они приятно, да, и я их отведал. Вкус оказался странно деликатесный, такая смесь: сыр бри, раскаленный асфальт и Пруст. Я вспомнил взгляд Нормана в тот миг, когда он слился с моим, и снова я подумал: «А если это любовь?» Так начались – недолго они продолжались – счастливейшие минуты моей жизни. Я понял, что в мире не одинок. Что кому-то *принадлежу*. Снова поел своих цилиндриков. За все месяцы, пока побирался в «Риальто», никогда мне не попадалась такая еда. Как жвачка нежная, хрустящая, как попкорн, и этот запах, запах, я уже говорил, приманчивый и непостижимый одновременно. Я попытался подобрать название и остановился на нормах: «Коробочку норманов, будьте любезны». Ужасно было жаль, что все еще тошнит от той сосиски и прелестных катышков на

один зуб размером я смог съесть совсем немного.

Потом здесь же, на Балконе, меня сморил сон. И снилось мне, что танцую с Норманом. На мне одно из шелковых платьиц Джинджер, в петлице у Нормана желтая роза, которую я подарил. Он меня кормит норманами с руки, пока мы танцуем, сует их мне по одному, по одному под каждый такт музыки. Сперва было приятно, но потом – я уж давлюсь, а он все в меня их запихивает, – потом пошел какой-то кошмар. Проснулся я с диким кашлем, в ужасной тревоге. Хотел сблевнуть, не получилось.

Наутро стало еще хуже. Кружилась голова, мучил дикий кашель, в ушах стоял гул, будто рядом гремит водопад. Пошел поел еще немного новой еды, и полегчало. Но к вечеру опять стало хуже, и такая накатила слабость: несколько шажков протопать – на Эверест взойти. За два дня я не выпил ни росинки, и теперь мог думать только о воде, больше ни о чем. Глянув вниз с Воздушного Шара, я увидел, что Норман забыл сполоснуть кружку. На дне чахли жалкие остатки темной влаги. Решив до нее добраться, я не то влез, не то рухнул на главное стропило, ведущее к Крысиной Норе. Добравшись до низу, я обнаружил, что проход почти полностью забаррикадирован какой-то картонной коробкой. Собрав все свои силы, я ее отодвинул. Тяжеленная оказалась, и все потому, что чуть не доверху набита норманами. Когда через нее перелезал, выбираясь из норы, вдруг глаз невольно упал на наклейку. Она гласила: «Против крыс». Еще она гласила (в подтексте): «Вот те, бабушка, и норманы, елки-палки». Нет, там не было написано: «Здоровая и вкусная пища». Написано было, наоборот: «С одного приема убивает наповал». Прикинул, могут ли пять-шесть катышков, которые я проглотил, сойти за один прием. Читаю дальше: «Для защиты от мышей, норвежских крыс, крыс обыкновенных, в доме, на ферме, на службе». Вот никогда не задавался вопросом, кто я, собственно, – норвежская крыса? Обыкновенная? Впрочем, не важно, не важно. «Держите подальше от детей и ваших четвероногих друзей». Жестокие слова для того, кто ненадолго вообразил себя, кажется, и тем и сем. Я, стало быть, умру, как Элвис, только медленней, и не жертвой несчастного случая, но преднамеренного убийства. Я дотянулся до кофе, его выпил, а потом чуть не час добирался обратно, к норе. Даже лежа плашмя, все никак не мог отдышаться. Мучил кашель, а когда отпускал, какой-то свист вырывался из моих легких, будто кто кричит-стонет где-то глубоко-глубоко в норе. Пососал десны: вкус крови. Я понял, что умираю. Умирал Фред Астер, великий танцор. Умирал Джон Китс, великий поэт. Умирал в бреду Аполлинер. Умирал Пруст – прелестный взор, опавшее лицо. Джойс умирал в Цюрихе. Стивенсон умирал на Самоа. Умирал, проткнутый в кабаке, Марло. И как жаль, как жаль, никто ведь не увидит. Сложат крылья дивные бабочки, и я подохну, как крыса.



Долго я спал. И проснулся я не в раю, если, конечно, рай – не пыльная щель между двумя деревянными стропилами. Я по-прежнему чувствовал невозможную слабость, но уже не кровоточили десны. Жутко хотелось пить, я был голоден как волк. В луче, снизу бьющем в Воздушный Шар, плясали пылинки. И вдруг я чуть не до слез растрогался всей этой красотой. Прошел несколько шагов, и – как же невыразимо веселила ногу шершавость дранки! Подошел к краю Воздушного Шара, глянул вниз. Он сидел за столом и читал газету – как ни в чем не бывало. Глядя на его лысую маковку, теперь-то я, конечно, догадался, какие зловещие шишки он хитро укрыл под этим своим кучерявым, невинно-монашеским венчиком. Да я в два счета мог бы отцепить люстру, и пусть бы шарахнула по его беззащитной черепушке. Как ни странно, посетив меня, эта мысль не нашла во мне отклика. Всю жизнь безмерный фатализм меня хранил от злобы и мстительности. Вдобавок я мстил бы призраку, ибо Норман, которого я знал и любил, оказывается, вообще не существовал,

был, оказывается, просто порождением моей фантазии, плодом чудовищного недоразумения, и винить тут некого, некого, только одного себя. Он оказался всего лишь насельником моих снов, не более реальным, чем безумный поэт, ломившийся к Саре Бернар тому всего неделя.

Сердце мое было разбито. «Крысиный яд, Или обманутая любовь». Все, что считал я крепким, незыблемым, все вдруг раскисло, расклекло, рухнуло, но в то же время – я как бы заново родился. Выдержка, главное – выдержка, пора, как говорится, перевернуть страницу. Эти «Книги Пемброка» на погибельной тропе, вот уже скатывающиеся в забвение, этот их хозяин-убийца, оштемпелеванный по вискам каиновой печатью, – нет, спасибо, хорошенького понемножку, пора строить иные планы.

Глава 8



Существует два типа животных в мире: животные с лингвистическими способностями и животные – без. Животные с лингвистическими способностями в свой черед распадаются на два класса – говорящих и слушающих. Последние – это в основном собаки. Впрочем, собаки, отличаясь исключительной глупостью, переносят свою афазию с каким-то рабским благодушием, даже с радостью, выражая ее вилянием хвоста. Но я-то – я дело другое, тут совсем другой коленкор, и мысль о том, что все дни свои провлячу в молчании, для меня мучительна непереносимо.

Уже давно, когда в самом начале был мой роман с людьми, я наткнулся в книгах на всевозможные хитроумные приспособления, призванные смягчить природную склонность представителей данного вида к расстройствам и порче: протезы рук-ног, вставные зубы, парики и шиньоны, слуховые аппараты, очки. И уже очень давно я стал вынашивать идею о возмещении моей физической несостоятельности с помощью какого-нибудь аппарата. Слово «пишущая машинка» впервые сбежало ко мне со страницы без свиты пояснений и сносок, как нечто само собой разумеющееся, знакомое и очевидное, и сперва я только и мог заключить, что это какая-то штуковина с клавишами, по которым порой порхают проворные женские пальцы. Я решил было, что это какой-то музыкальный инструмент, и меня только смущало, при чем тут стук. Когда наконец понял, что это аппарат для перенесения слов на бумагу, я немисливо разволновался. Хотя пишущей машинки не оказалось у меня под лапой, самая мысль высвободила зато бурный поток образов. Мнилось: расклеиваю вокруг магазина глянцевитые, на машинке отпечатанные записочки для Нормана, чтоб, их обнаружив, он поломал себе голову. В моих мечтах он их находил, чесал в затылке, оставлял краткие послания в ответ.

Ну да ладно, мы теперь уже знаем, как разочаровал меня этот Норман. И с пишущими машинками вышло то же самое. Накопал я подробнейших описаний, рисунков с подписями, даже видел их в действии, спасибо кинематографу. Вердикт оказался неумолим: чересчур велики, чересчур громоздки. Если росточком не вышел, не поможет тебе никакая твоя гениальность. Положим, я даже сладил бы с клавишами, ну, не знаю, ну, прыгал бы на них с высоты, но никогда мне не заправить лист бумаги – у крыс с разными ручками

нелады, – никогда не повернуть длинный серебристый рычаг, ведающий ходом каретки. Из фильмов я знал, что пишущая машинка производит своего рода музыку, и я знал, что мне лично вовек не суждено услышать звонкого ликующего *дзинь* в конце строки и долгого шелеста аплодисментов, с каким каретка подается назад, чтобы начать другую. Так уж оно получилось, что, кончая строку, ничегошеньки-то я не слышу, кроме бесшумности мыслей, падающих, падающих в бездну памяти.

Однако же, повторюсь, я умею быть очень упорным, если сильно чего-то пожелаю, и я не отказался от своей идеи поговорить с людьми. Не прошло и двух недель с того дня, когда я похерил проект, связанный с пишущей машинкой, как вдруг нахожу на полке под надписью ЯЗЫКИ тощенькую желтенькую брошюрку с названием «Скажи без звука» – разговорник в картинках, и там воспроизведены десятки знаков для общения глухонемых. Увидел я эту книжицу и сразу решил, что нашел то, чего искал. Обычные слова расположены в алфавитном порядке, а против каждого, в качестве «толкования», фоточка: хорошенькая женщина в красном свитере показывает соответственный знак. Это из-за нее, наверно, мысль о знаках сопряглась у меня в голове с Прелестницами. Рядом со словом «друг», скажем, была картинка: Прелестница в ладном свитерке сводит правый с левым указательные пальцы.

Возьмемся за руки, друзья, такого типа. И снова я загорелся. Как оказалось, сдуру, ведь очень скоро до меня дошло, что, кто бы ни изобретал этот немой язык, старался он ради существ, наделенных пальцами. С моей же скромной оснасткой (лапы-когти) я не мог из себя выдавить даже и самую примитивную фразу. Об этом и заикаться было нечего. Я стоял перед зеркалом, как это ни было мне тяжело, балансируя на краю раковины, и старался знаками спросить: «Какого жанра книгами больше интересуетесь?» Я тщился заменить своим телом ладонь, ногами – пальцы, но, не договорив фразы, изменил принцип, заместив руки передними лапами, а пальцы задними. Похлопывая себя по груди, сворачиваясь в клубок, я бешено метался как некто, на ком загорелся плащ. Напрасный труд.



Отчаянные ситуации, однако, будят отчаянные надежды, и после того, как Шайн покушался на мою жизнь, я вдруг вернулся к идее насчет знаков. И вот тогда-то я решил, что мне, собственно, ничего не требуется, кроме примитивнейшей фразы, просто чтоб дать понять людям, как я остроумен и любезен. Прошло уже немало времени с первых моих опытов, и, хоть мало что исчезало из магазина без моего ведома, меня точила тревога, не смылся ли кто с моей брошюрой, пока я был в «Риальто» или прохладился на чердаке. Кто-то глухонемой, конечно, и потому – тихой сапой. Едва Шайн в тот вечер запер дверь, и кашлянул разок (по своей привычке, как бы привечая вечер), и направил свои звонкие стопы прочь по улице, я кубарем бросился вниз, метнулся через весь магазин в тот угол, где раньше была моя брошюрка. Да и по-прежнему стояла, целая и невредимая: желтым ломтиком сыра в сэндвиче между ржаной темнотой Сербохорватского словаря и пеклеванной блеклостью Лэнгстонских⁵⁷ «Основ немецкого языка для бизнесменов». Не без усилий стащив ее с полки, я заметил, что цена, нацарапанная на обороте обложки, с двадцати пяти центов съезжилась до одного никеля.

Медленно листая страницы, я вопрошал Прелестницу. Я искал простую, понятную фразу, доступную при моем физическом несовершенстве, и не успел я оглянуться, как научился произносить «наше вам с кисточкой». Не Шекспир, конечно, но и на том спасибо. Я мог это сказать, стоя на задних лапах, а передней сперва салютуя, потом указывая на свой

⁵⁷ То есть изданных Лэнгстонским университетом.

хвост, кисточку на котором, согласитесь, не составляет большого труда себе представить. Я упражнялся перед зеркалом – салют, кисточка, кисточка, салют – я выучил свое приветствие на зубок, когда вдруг с ходу столкнулся лицом к лицу с другой проблемой: кому я это буду говорить? Ответ простой и очевидный: глухонемому. Что, по крайней мере, давало мне новую цель жизни: найти глухонемого. Но глухонемые на деревьях не растут. Я жадно ждал, надеялся – сейчас, случайно, он зайдет, сейчас, сейчас, – в каком случае я намеревался броситься к нему и представиться. Но, по-моему, так они в лавку и не забредали, зашел, правда, как-то один старик, очень долго рылся, наконец выудил книгу и купил без единого слова. Очень возможно, глухонемой. Но тут же толкся Шайн, что мне было делать?

Покупатель старый, слабенький, кинься я ему в ноги, как бы он меня защитил?

В вульгарном, физическом смысле я ни разу не выходил за пределы Сколли-сквер, но по книгам и картам отлично представлял себе Бостон, и в голове моей он простирался весь, от Арлингтона до Коламбус-Пойнт, как бы увиденный с аэроплана. Теперь моя задача, как у истинного Аксиона, была – вступить в контакт с представителями доминирующего вида. Конечно, я уже попробовал общаться с Шайном и чуть не встретил аксионскую героическую судьбу. Однако моя обширная эрудиция несомненно укрепляла меня в мысли, что помимо толп садистов, сволочей, психопатов, извергов и отравителей доминирующий вид может предъявить и экземпляры тонкости, сочувствия, и большинство этих последних – женщины.

Я мог бы поискать контактов в проулках возле Сколли-сквер, но что-то в тамошних физиономиях меня удержало. Я уже признавался, что был в те поры страшно буржуазен, и, следовательно, по ограниченности тогдашних своих понятий хотел, чтоб первым моим собеседником (или собеседницей), так сказать, лишая меня девственности по части словесного общения с людьми, был тот (или та), которого (которую) можно смело отнести к высшему классу общества. Поскольку в наиболее вероятные места обитания такого разряда лиц женского пола – кампусы Рэдклиффа и Уэллсли,⁵⁸ монастырь Святой Клары на Ямайке – я не был вхож, я решил остановиться на Городском парке, всего в нескольких кварталах от Сколли-сквер. Вот, вы снова можете убедиться, да? – что, несмотря на некоторые закидоны, я твердо стою на своих четверых и могу быть весьма практичным, когда надо.

Для путешествия мне нужна была дождливая ночь, когда люди, шмыгая от подъезда к машине, так сосредоточены на газетах и зонтиках у себя над головами, что не заметят мелкое низкое животное, переползающее к западу под припаркованными средствами передвижения.

Ждать пришлось недолго. В следующую субботу Шайн шел из магазина под моросящим куполом черного зонта. А за полночь, когда я направлял свои стопы к Городскому парку, дождь уже лил как из ведра – хоть под машинами асфальт оставался пока сухим и теплым.

Трудности собой представляли только промежутки, открытые пространства, которые следовало бы преодолевать рывком, бегом. Я, однако же, не спешил, осторожничал – не забыл бедного Элвиса – и только уже к рассвету пересек большой газон и совершил последний мой бросок к Городскому парку.

Трава была нежная, пахла вкусно, сладко. То была моя первая трава, и я ее отведал. Дождь перестал, небо выцветало на востоке. Переползая под машинами от одной к другой всю дорогу по Тремонт-стрит, я перепачкался, я был весь чумазый, ноги и живот загажены жирной грязью, заляпаны песком. Как мог, я привел себя в пристойный вид, потом заполз в кусты и задремал. Когда проснулся, уже вовсю играло солнце, и я увидел деревья. Никогда еще не видел я настоящих деревьев. Куст, под которым я затаился, рос прямо у бетонной дорожки, пересекавшей весь Городской парк из конца в конец. Я выглянул, увидел, как прогуливаются разряженные горожане. Звонили церковные колокола. И странное отвлеченное чувство мной овладело: будто на самого себя взираю с высоты. Крысеныш, который должен бы подохнуть, не подох. Слабый, грязный, но отнюдь не дохлый, он был

⁵⁸ *Рэдклифф* – престижный колледж гуманитарного направления для женщин в Кембридже (штат Массачусетс); *Уэллсли* – аналогичный колледж в пригороде Бостона.

живехонек, сидел под кустом и – строил планы.

Я смотрел, как люди ходят, смотрел, что они делают руками. Эти руки – они разговаривали? Все утро я видел, как эти руки раскачиваются в такт ходьбе, как прячутся в карманах, прихлопывают вздыбившиеся на ветру шевелюры, приподнимают шляпы, приветно помахивают, складываются в кулаки, разбрасывают орешки, ковыряют в носу, чешут в затылке,жимают другие руки. И все это без малейшей подоплеки, без всякого подтекста, тем более без текста. Я ел траву. Дважды я выскочил наружу и слямзил несколько орешков, предназначенных белкам. Но не наелся. Со вчерашнего утра не ел по-человечески. Я чувствовал слабость, да, а слабость влечет за собою малодушие.



Уже почти стемнело, когда я их увидел: две женщины и между ними маленькая девочка шли со стороны Арлингтон-стрит. Нарядные, в блестящих туфельках. Витая над головой у девочки, руки этих женщин разговаривали. Вот когда я подосадовал, что в свое время поленился изучить словарик для глухонемых: теперь бы понял, дословно понял, что эти руки говорят. Сердце мое тяжело бухало. Одного я боялся: как бы из-за слабости не лишиться чувств от волнения и страха. Я выждал, пока они подойдут поближе, и, когда они были совсем рядом, бросился на середину дорожки и сказал: «Наше вам с кисточкой». Я старался это выкрикнуть, проорать, бешено размахивая лапой. «Наше вам с кисточкой. Наше вам с кисточкой». Сам понимаю, глупо, но я пытался увеличить эффект сказанного, визжа благим матом. Казалось, я добился своего. Женщины и девочка замерли на месте, уставились на меня, разинув рты. Для произнесения моего приветствия мне пришлось стоять на задних лапах, и, увлекшись, я потерял равновесие и бухнулся навзничь. Одна из женщин вдруг захрюкала как-то, что ли, – гу, гу, гу, – она, может быть, смеялась, и тут девочка взвизгнула.

Дальше не отвечаю за точную последовательность событий. Кто-то крикнул: «Крыса, крыса!» Мужской голос скрепил: «Да уж не белка, ясное дело», и другой ахнул: «У нее припадок!», третий простонал: «Бешенство!», и все заговорили разом. Подошел кто-то с тростью, норовил ткнуть меня в живот. Я вскочил на ноги, я побежал, этот тип хотел меня огреть своей тростью. Я слышал, как она бахнула о тротуар, со свистом взвилась вверх, жажнула меня по спине, – я как раз добежал до травы – и кто-то кричал: «Не надо, не надо, ей же больно!» Я зашел за кусты, я снова побежал. Боли не было, но что-то тяжелое я чувствовал, я волочил за собой по траве. Повернул голову, и оказалось: моя левая нога как-то не так вывернута. Не шевелится, когда я бегу, волочится за мной, как мешок.

Боли начались ночью, а наутро я еле передвигался, перетаскивая свое тело на одних передних лапах, и мучился непереносимо. Я ел траву. Из своего укрытия смотрел, как один господин кормит белок. Сидит на скамейке рядом со мной с бумажным кульком, а белки влезают к нему на колени, едят орешки прямо у него из пальцев. «Жадность, деградация и эгоизм среди американской фауны». Скоро это ему, кажется, надоело. Перевернул свой кулек, все орешки рассыпались по скамье и на землю. Он удалился, белки бросились к орешкам, их похватили и, решив, что подгребли всё, тоже удалились. Но одного орешка они не углядели. Я видел его – в траве, возле скамейки, у самой ножки, всего в нескольких шагах от места, где я скрывался. Кто-то еще пришел, сел на скамью, кто-то синий. Плевать я на него хотел. Я так страстно желал орешка, что на все прочее плевать хотел, и я выполз, я схватил этот орешек. Помнится, очень он был вкусный.

Глава 9



Дальше ничего не помню, а потом была качка, был сильный человеческий запах. Когда очнулся, я плотно, как индейский младенец, был спеленут человеческим запахом и душными слоями шерстяной материи. Качало, было темно, было очень больно. Вцепившись в грубую ткань передней лапой, я исхитрился высунуть голову на свежий воздух. Я жадно его глотнул и увидел синее небо в мереже проводов и окантованное коньками крыши. Я отогнул еще складку, и я увидел, как машины с одного бока плывут назад, как машины с другого бока плывут вперед. Потом я запрокинул голову, заглянул в это глубокое синее небо, потом еще больше запрокинул голову и заглянул в той же чистой сини человеческий глаз. Он смотрел прямо на меня, а напарник его тем временем внимательно следил за машинами.

Джерри Магун тяжело дышал, потому что с силой крутил педали, и каждый выдох ерошил ему усы. Велосипед кренило то в одну сторону, то в другую, пока он так крутил педали, и, как колыбель, качалась плетеная корзина. Я уткнулся головой в пахучую шерсть – в свитер Джерри, в его запах, как потом я понял, – и закрыл глаза. Толстый свитер смягчал дорожную качку, но не мог унять боль в ноге. Переднее колесо стонало под тяжестью корзины. Я бы с удовольствием сказал Джерри «наше вам с кисточкой», но сил не было, и к тому же я сомневался, что буду правильно понят.

Вот так я вторично прибыл в Корнхилл. В первый раз меня несли зыбкие воды Маминой утробы, теперь вот складки Джерриного свитера. Я плыл в корзине, как Моисей.⁵⁹

Когда мы подъехали к «Книгам Пемброка», Джерри с превеликой осторожностью приподнял велосипед над краем тротуара и прислонил к витрине. Хмурость Шайна хлынула к нам сквозь стекло – неприветливая, поперек себя шире физиономия торчала в витрине, как такая мизерабельная сова. Выглядывая из корзины, из своего шерстяного конверта, я был к нему ближе, чем когда бы то ни было прежде, ближе даже, чем в тот судьбоносный миг, когда впервые наши взгляды скрестились, мой, исполненный любви, и его, исполненный... чего? Оглядываясь назад, склонен полагать, что это было презрение.

Джерри, как всегда, на него не обратил внимания.

Он качал меня в шерстяной охапке, мы входили в дверь под КЛЮЗЕТОМ. Действуя локтями, он распахнул дверь с надписью по стеклу: ДОКТОР ЛИБЕРМАН. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕЗ БОЛИ. Тихо вздохнув, она за нами затворилась. Внутри было темно, пахло холодом и сыростью. Медленно, тяжело, ставя сперва одну ногу, потом к ней подволакивая другую, он, как ребеночка, меня пронес по трем маршам темной лестницы. Усы вздымались, опадали, и на каждой площадке он останавливался, чтоб отдышаться. На каждом этаже было по несколько дверей. Все выкрашены в бурый, только у доктора Либермана в зеленый цвет, и над каждой дверью сверху – фрамуга матового стекла.

Комната Джерри была на самом верхнем этаже в тылу дома. Засучив рукав свитера над сгибом локтя, он рылся у себя в карманах. Выпотрошил их, извлек горсть всякой всячины: спичечный коробок, монетки, кусок белой бечевки, несколько орешков, медный шуруп.

⁵⁹ См.: Исх, 2:2–10.

Почти все разбросав по полу, ухитрился в этой куче обнаружить ключ. Пальцы были короткие, толстые. Вот Джерри отпер-таки дверь, открыл ногой, и мы вошли. Он бережно меня уложил на постель, стараясь не толкнуть, и устроил из свитера нечто вроде гнезда. Потом утрамбовал его с одной стороны так, чтоб я, не задирая головы, мог оглядеться.



Комната была не сказать чтоб большая, и на первый взгляд мне показалась кладовой. Кроме мебели (железная кровать, кожаное кресло, рваное, бесстыдно вывалившее белое нутро, комод под накренным зеркалом, на котором кто-то помадой, что ли, нарисовал усатую косую рожу, показывающую всем язык, книжные полки, сооруженные из некрашенных досок и бетонных блоков, стол с эмалевой столешницей, черно-щербатой по углам) здесь были коробки, картонки, деревянные ящики, наваленные один на другой чуть не до потолка. С опасной вершины самой большой пирамиды клонилась детская коляска, такая, знаете, их возят за длинные металлические ручки. Бока коляски удлинялись при помощи деревянных реек, на которых кто-то большими красными и желтыми буквами вывел от руки: И. Д. Магун. Несколько минут спустя Джерри приволок свой велосипед и водрузил поверх всего остального. Никогда еще я не видывал, чтоб человек вел такую крысинуую жизнь.

Он открыл дверь за книжными полками, стал рыться в кладовой, работал руками, урчал, выкапывал, швырял на пол у себя за спиной – одежду, обувку, полуразваленный проигрыватель, тостер, веселенькие кипы журнала «Лайф» и снова коробки, коробки, коробки. Прямо, прошу прощения, как роющий землю пес. По другую сторону от книжных полок был подле кладовой закуток, и в нем раковина и столик. Большая синяя тряпка свисала со столика до полу, пряча, как я потом выяснил, металлический бак для всякой дряни. Там же на столике среди нагромождения плошек и кастрюль ютилась зеленая горелка. Свет дня с трудом пробивал большую подслеповатую оконницу. Был над единственным окном козырек при отсутствии штор, а внизу – батарея, которую кто-то – лишь с частичным успехом – пытался выкрасить красным.

Наконец Джерри нашел то, что искал в кладовой: серую обувную коробку, и он ее поставил на попа со мною рядом, рассыпав содержимое – письма, конверты, несколько сине-белых игральных карт с велосипедом на рубашке и бездну фотографий. Я увидел Джерри вверх тормашками, куда моложе нынешнего – черный бобрик, длинная и голая, как у Генри Миллера, верхняя губа. Сидит у заваленного бумагами стола. Видно, спугнули человека за письмом: еще трепещет над строкой перо, натянутая улыбка. И совершенно белые зубы. Старый, седой – тот тоже улыбался, ласково меня уговаривал не пугаться, успокоиться, и вспархивали усы, когда выползли из-под них слова Зубы у него теперь стали желтые и длинные, и от него пахло сигаретами и мясом.

Он положил свернутое полотенце – с надписью «Отель Рузвельт» – на дно коробки, осторожно поднял ее (со мной внутри) и поставил на пол. Полотенце было в синюю полоску. И Джерри Могуном не пахло. А он все разговаривал со мной веселым, ласковым голосом – сиплым, рассыпчатым, будто пересыпают гравий, – роясь в холодильнике и не поворачивая головы.

– Чего б тебе такого предложить, а, Шеф? – Он сипел. – Молочко? Молочко – это

идея. – Вынул баночку с красной крышкой. – Арахисовое масло когда-нибудь едал? – И склонился над моей коробкой, свесив огромную башку.



Арахисового масла я в жизни не едал, даже и не пробовал. Как, впрочем, и молока: сомнительный состав, какой выжимал из Мамы, не в счет, наверно. Молоко мне было подано на красной крышечке, масло бруском на вощенной бумаге. Изысканнее этого арахисового масла я в жизни ничего не ел. Молоко оказалось тоже очень даже ничего, прохладное такое, сладкое. Он смотрел, как я ем, улыбался. Приговаривал: «Пей-пей, кушай, ам-ам».

Потом он стал возиться в закутке. Он варил рис в кастрюльке с водой и, когда сварил, слил, придерживая крышку рукой и полотенцем. Облако пара взошло над раковиной, затуманило окно. Джерри на меня посмотрел, сказал: «Оп-ля». И расхохотался, громко пересыпая в легких крупную гальку. Плюхнул в рис соевого соуса, перемешал. Смахнул в сторону бумаги и книги, расчистил место для кастрюли на столе. Ел он рис ложкой, зажав ее в кулаке, как ребенок, и очень медленно жевал. Я рассчитывал, что он еще со мной поговорит, но в тот вечер ничего не получилось.

Бухнув всю посуду в раковину – оп-ля! – он схватил куртку и ушел, и долго его не было, и он вернулся так поздно, город совсем уже за вечерел, затих, – только изредка сирена взвояет, вякнет автомобильный рожок, да еще мне громко дергало ногу, – и он прошлепал к постели, не включая света. От него пахло, как от Мамы. Я слушал, как он спит, медленно, тяжело, и я слышал, как он смеялся во сне, а утром я увидел, что он не раздевался на ночь.

Вот так началась моя жизнь с Джерри Магуном, вторым человеком на свете, которого я в своей жизни любил. Несколько дней я был лишен способности передвигаться, боль не давала спать. Я лежал себе тихонечко у себя в коробке и давал названия вещам. Стол, вечно навьюченный всякой дрянью, я называл Верблюдом. Коробка стала Отелем. Окно теперь было La Fontaine Lumineuse,⁶⁰ и я называл наше кожаное кресло – Стэнли. Я давал названия вещам, и я наблюдал за Джерри. Днем я не спускал с него глаз, а ночью я слушал, как он дышит.

Он так сложил мое полотенце, что сверху осталось только ВЕЛЪТ, и я лежал, прищурив один глаз, вжав другой в полотенце, и смотрел, как скачут по вафельному простору холмы. И бежали, бежали саванны прочь от громадного Т на переднем плане – гигантского безлистого баобаба – к малому, тающему, уводящему вдаль В. В те первые дни, стоило Джерри уйти, я, лежа тихо, смотрел, как легкие лани летают через Л, как чешет об Т шишковатую голову изысканный жираф. И ведь часами не надоедало. А когда наконец хрустел ключ в замке и я приподнимал над одеялом голову, бедные вспугнутые твари улетали, как птицы, и улетали вслед за ними по муравчатым склонам их пестрые голоса. Так красиво, так грустно. Я уж подумывал, не лучше ли быть перелетающей через А трепетной ланью, чем человеком, и не лучше ли иметь длинные ноги, чем подбородок.

Нога заживала как на собаке, к концу недели я мог уже на нее ступать. А еще через несколько дней она у меня почти совсем не болела, правда, так и осталась скрюченной, и я с тех пор прихрамываю. Как вам нравится это милое слово – прихрамывать? И само-то хромает. Спортивностью я никогда не отличался, так что не особо комплексовал, сделавшись калекой. Если на то пошло, это обстоятельство даже придавало солидности моему облику. Конечно, не мешало бы еще заиметь стек, солнечные очки. Слова *panache* и *debonnair*⁶¹ всегда мне тешили сердце. Неплохо бы опять же подрасти, стать маленьким сереньким козликом.

Сперва Джерри называл меня Шеф, и не могу сказать, чтобы мне это очень льстило, потом опробовал Густава, Бена и наконец остановился на Эрни. «Как важно быть серьезным!».⁶² Эрнест Хемингуэй. Эрни так Эрни. Он давал мне арахисового масла и молока сколько влезет, угощал кусочками тоста за завтраком, потчевал всем, что сам ел, и думал, что мне понравится, рисом, например, который варил, кукурузой, которую выковыривал из банки. Кстати, мы с ним пришли к выводу, что крысы не любят рассола.

Он надолго пропадал – иногда днем, иногда и ночью, иногда в публичной библиотеке на Копли-сквер, иногда в баре «Разлив» на углу, но по большей части шастал неведомо где. И вечно на выход надевал синий костюм. У него было их два, совершенно одинаковых. Он их сам стирал в раковине, сушил на пожарной лестнице и на батарее, но гладить не гладил. И всегда он был при галстуке, но его не плотно завязывал. Не завязывал, не развязывал, просто накинет через голову – и болтается у него на шее удавкой. Вечно видик – как после запоя, и, если подытожить описание его наружности, например, одним словом, я бы так сказал, что он был *помятый*.



⁶⁰ Светлый родник (*фр.*).

⁶¹ Молодечество, благодушие (*фр.*).

⁶² Главного героя этой пьесы Оскара Уайльда зовут Эрнст, к тому же название построено на едва ли поддающемся переводу каламбуре: *earnest* по-английски – серьезный.

Когда я уже был в состоянии выбраться из Отеля и стал ковылять по комнате, Джерри не возражал. Потрясающий квартирный хозяин, он вообще разрешал мне все – даже Стэнли потрошить, в пружинах рыться, чем я с удовольствием и занимался, – но никогда я не злоупотреблял его доверием, не совал нос в его личные вещи, когда его нет. Когда, значит, встал на ноги, я использовал его долгие отлучки и обнюхал каждый сантиметрик в комнате, и начал, естественно с книжных полок. Я еще не бывал ни у кого в доме, так что не вполне себе представлял, сколько книг приблизительно у людей бывает. После «Книг Пемброка», естественно, почти любое количество показалось бы жалким. У Джерри, по-моему, было их сотни две. Я с удовольствием обнаружил «Портрет художника в юности» и «Улисса», но Великой книги, увы, не было – увы, потому что мне так и не довелось восстановить те страницы, которые Фло изодрала, а я так беспечно съел. Кроме книг, на нижней полке длинным строем стояли тетрадки, в которых Джерри писал. При всем своем любопытстве я счел, что лезть туда неприлично, хотя соблазн был почти непереносим. Ну а книжечками я, конечно, попользовался – попадалось тут и кое-что для меня новое. Начал я с нижней полки, слева, пробирался постепенно наверх, ну, и за эти делом он меня очень скоро застукал.

Я как раз открыл для себя Терри Саутерна и распахнул его роман «Кэнди»⁶³ перед собой на полу. Эти бумажные, плохо сброшюрованные книжонки вечно норовят захлопнуться, как наручники, и, естественно, я придерживал страницы обеими передними лапами. «Кэнди» – весьма духоподъемная история. Я дошел до того места, где Кэнди отдается карлику, и так увлекся – хочешь не хочешь, а известное сходство с моим собственным положением напрашивалось, – что не слышал, как Джерри поднимается по ступеням, пока не стало слишком поздно. Дверь была, очевидно, не заперта, и вот – вдруг вижу: стоит на пороге, тяжело дыша, сумка с кульками в одной руке, ключ все еще в другой.

Ох как он меня напугал. Сам, между прочим, тоже дико растерялся, сперва буквально остолбенел, уставя в меня свой этот ключ, как пистолет. Поскольку я был, так сказать, накрыт с поличным, деваться мне было некуда, у меня не было выбора. Ну и я в буквальном смысле слова перевернул страницу – я продолжал читать. Я думал, он рассердится, что его книги стягивают с полок, шмякают на пол, а он, он, наоборот, вдруг ужасно развеселился. Оправясь от потрясения, он громко расхохотался – с ним это нечасто случалось, – горстями рассыпая по крыше гравий. После этого случая я без зазрения совести снимал с полки книжку, как только скучно станет, открывал прямо на полу и читал, не стесняясь, прямо при нем. По-моему, он так и не понял, что я вправду читаю. Так и остался, по-моему, в убеждении, что просто я делаю вид.

Глава 10



⁶³ Саутерн, Терри (р. 1924) – американский киносценарист, писатель-юморист, представитель черного юмора. «Кэнди» – пародия на эротический роман.

Хоть, глядя на него, вы бы этого ни за что не сказали, Джерри был очень даже практичный и экономный человек, когда трезв. Обожал выудить из кучи хлама увечную, хилую, жалобно пищавшую вещь и довести до ума – тостер, проигрыватель, всякое такое. Иной раз получалось, иной раз нет. Не получится – он эту штуку выкинет, а получится – снова втиснет в кладовую. По полдня, бывало, корпит над каким-нибудь приспособлением, расчленив его на столе, орудуя плоскогубцами и отвертками, разматывая рулоны черной ленты, и все время бубнит про себя: «Тэк-с, во-от мы эту проволочку сюда, тут у нас термостат, а тут защелка пружинная, хорошо-хорошо-с, и как это тебя угораздило треснуть?» – а потом все собирает заново. Видел плохо, буквально носом водил по столу, из-за этой своей близорукости, из-за толстых неповоротливых пальцев то и дело сыпал на пол кое-какие детали. Весело было смотреть, как он ползает на четвереньках. Вылитый медведь. Я, между прочим, наверно, мог бы кое-что для него найти, но никогда не искал. А еще весело было смотреть, как он горбатится над работой, косым глазом стреляя куда-то в сторону. Как ребенок, которого застучали на запретной шалости. Но если уж воскресит обреченную, умирающую вещь, сам не свой от счастья, бывало, скачет по комнате и крикает, хмыкает про себя. «Усовершенствовать мир. Старания механика». В такие минуты хотелось рядом с ним приладить слово «сияние». Счастье так и прыскало из него, затопляло комнату, я жадно его глотал. Подправив пять-шесть таких вещей, чтоб стали как новенькие, он их сваливал в красную коляску и увлакивал куда-то. Потом уж мне стало известно, что он раздавал их на улице кому ни попадя.

Как-то, через месяц примерно после того, как я у него поселился, Джерри принес домой игрушечный рояль, где-то среди мусора откопал. Беленький, о трех маленьких ножках, и к нему еще, как положено, стульчик. Во всех отношениях абсолютно настоящий рояль, только клавиш поменьше, а какие есть, неисправны. Ни звука не издавали вообще, как он по ним ни колошматил, кроме слабенького, совсем немзыкального – *треньк*. Выколотив из рояля два-три таких *тренька*, он уселся возле Верблюда и разъял инструмент на части. Возился с ним, уговаривал его часами, и в конце концов все клавиши у него зазвучали. Потом еще часа два он просидел в кресле, держа рояль на коленях, наигрывая двумя пальцами «У любви, как у птички, крылья», «Сатана там правит бал». А уж потом поставил на пол, для моего пользования. Очень этот рояль мне пришелся по душе, и Джерри отнесся с пониманием, не стал его никому отдавать. Играл я в основном Гершвина и Кола Портера,⁶⁴ и был при этом вылитый Фред Астер, и пел тоже в его манере, точь-в-точь. Ну, что значит точь-в-точь, я понимаю, конечно, это верно только с некоторым допущением, только в одной, отчасти условной перспективе, и Джерри, например, слышал исключительно тонкий крысиный писк. Ему, правда, все равно нравилось. Когда я в первый раз сыграл для него и спел, он так хохотал, что даже слезы потекли по щекам. Конечно, я предпочел бы несколько иную реакцию, но тут уж ничего не попишешь.

Джерри был первый настоящий писатель, с каким я имел дело, и, должен признаться, несмотря на всю его доброту, сначала я был несколько разочарован. Повторюсь, я был в те поры ужасающе буржуазен, а его жизнь мало походила на то, что я считал жизнью настоящего писателя. Во-первых, более одинокая, чем я даже мог вообразить. Ну, не более одинокая, конечно, чем я даже мог вообразить, даже и не более одинокая, чем та, к какой я лично давно притерпелся, но более одинокая, чем та, какой рисовалась мне жизнь настоящего писателя. Только трижды к нам в дверь и постучались за все три месяца, что мы были вместе. Я всегда думал, что настоящий писатель – как и сам я, не чуждый художественной прозы, в мечтах, в мечтах – без конца рассиживает по всяким кафе, обмениваясь остроумными репликами с искрометными собеседниками, а порой приводит домой красотку с длинными черными волосами и наутро ее вытюривает, потому что ему надо

⁶⁴ Гершвин, Джордж (1898–1937) – американский композитор, автор всемирно прославленной оперы «Порги и Бесс», множества мюзиклов и оперетт; Портер, Кол (1891–1964) – американский композитор, автор популярных мюзиклов и песен.

работать: «Ты уж извини, моя прелесть, надо книгу писать». Я воображал, как по несколько дней подряд он сидит взаперти, стаканами хлещет виски и терзает свой старенький ремингтон до рассвета. Чисто выбрит он никогда не бывает, и бороды у него нет, только аккуратнo-двухдневная щетина. И необъяснимая горечь таится в уголках его рта, и печальные глаза выдают ироническое *je ne sais quoi*.⁶⁵ Джерри отдаленно соответствовал образу только по части виски. Не знаю уж, где он шляется, когда бросал меня одного на всю ночь, но никого интересного в жизни домой он не доставил. Только спичек коробок, вот и всё, что он доставлял из «Разлива» или из «Салона» от нас за два дома. По-моему, друзей у него не было вообще, даже скучных. Если, конечно, не считать шапочных знакомых вроде Шайна или тех, кто знал его как встречного чудака. С этой стороны Джерри Магуна знала вся округа. С этой стороны он был, можно сказать, знаменит.



И за писанием, собственно, он проводил не так уж много времени, если под писанием разуместь буквальное, физическое нанесение слов на бумагу, – часок на дню, и не более того. Как соберется в буквальном смысле слова писать, усаживается, бывало, за стол с эмалевой столешницей, туда же, где ест и чинит всякую всячину. На столе всегда была куча-мала – бумаги, книги, грязная посуда, трусы, приبلудный зонтик, куски и обломки вещей, которые он в данный момент разнимал и воссоединял, – и все это Джерри сгребет на сторону и расчистит себе для писания место. Писал он ручкой, в школьных тетрадках, таких, знаете, в мрамористых черно-белых обложках с белым квадратом посередине, в линейчку, чтобы вписывать название и тему. На той, в которой он писал все время, пока мы жили вместе, было название «Последняя сделка». Темы не было.

Джерри бормотал и мурлыкал, когда писал. Мурлыканье было, как тонкий распев, а бормотание – оно и есть бормотание, ну, может, жужжание скорей. Будто кто молится в дальней комнате, и ты угадываешь важность, значение, хотя не разбираешь ни единого слова. Он, собственно, и тогда жужжал, когда не писал за столом. Вообще он все время жужжал, если только не разговаривал с кем-то определенным. И я заключил, что он сочиняет книги в уме, как я. Ободренный и освеженный таким выводом, я, кстати, приблизительно в тот период начал наконец относиться серьезно к собственному сочинительству.

Джерри случалось несколько перебрать, и тогда, придя домой, он натыкался на мебель, сразу заваливался в постель и засыпал, не раздевшись. Ночью я слышал, как он вставал и постепенно все с себя скидывал. Вообще он ночью всегда вставал, чтоб пописать в раковину. Но время от времени он надирался зверски, буквально вдребезги, в доску. Этим неизбежно разрешались периоды его хандры, – которые повторялись точно как часы, никуда не денешься, – и разрешались, кажется, к его вящей пользе. К пьянству я отношусь без предвзятости – какая у меня может быть предвзятость, интересно, учитывая мое собственное прошлое? – но когда на него нападала хандра – вот это был кошмар. Вся потаенная тоска, какую вы угадываете в его книгах, всплывала на поверхность, выпирала наружу, застила ему взгляд и все лицо затягивала как тень. Когда нападала хандра, о, тогда он сидел в большом кожаном кресле, ословело уставясь в стену, ко всему безучастный, прямо как в коме.

Он тогда переставал есть и, что даже актуальней, и меня не кормил. Тут было о чем невесело призадуматься. И вдобавок я ощущал собственную ненужность. Как вы уже, видимо, догадались, я и сам скорей склонен к депрессиям, знаю тоску как свои пять пальцев, так что, даже умей я говорить, ничего бы такого не сказал, что бы его могло ободрить. Когда

⁶⁵ Не знаю что (*фр*).

кого-то мучит хандра и он громко сетует на то, как холоден и бездушен мир и сколько в нем бессмысленных страданий и горя, а вы в ответ только и можете, что по всем пунктам ему поддакивать, вы, собственно, попадаете в довольно неловкое положение. Хандра эта у Джерри держалась обыкновенно дня по два, по три, и я, кстати, никогда не оставлял попыток ее развеять. Чего я только не предпринимал – пел, играл на рояле буги-вуги, корчил забавные рожи, симулировал эпилептические припадки, которые в другое время вызывали его гомерический гогот, – он просто не замечал. Потом, буквально с регулярностью солнечного восхода, после двух-трех таких дней он, бывало, вдруг вскочит с кресла, опрыснет холодной водой лицо, натянет пиджак, накинёт галстук и без единого слова шагнет за порог.

Эти внезапные уходы поначалу ужасно меня пугали. Я боялся, а вдруг он пошел присматривать высокий дом или мост, может быть, над ледяною пучиной. Порой я разыгрывал из себя Джинджер, я отправлялся его искать. Я находил его всегда как раз вовремя, не то было бы уже слишком поздно, обычно где-нибудь в притоне на верфи, и он там сидел один, глядя, как льдинка тает в стакане виски. Я его робко тянул за рукав: «Вернись домой, Джерри, ну пожалуйста». Он, бывало, дернет плечом, отвернется сердито. «Ну, Джерри, прошу тебя, пойдем домой. Мне так скучно без тебя». И в конце концов всегда мне удавалось его уломать. И все в баре смотрели на нас с Джерри и нас жалели – было приятно. На самом деле я, конечно, просто изводился, сидя дома. Он пропадал всю ночь, а то и две, а после возвращался в кошмарном виде, валился на постель и долго-долго спал. Зато, проснувшись, он был снова как огурчик. С точки зрения психологической пьянство куда полезней, чем полагают некоторые.

Как-то утром, спустя несколько дней после того, как я поселился у Джерри и был еще прикован к Отелю, меня разбудил дикий шум. Сунув нос за край коробки, я с недоумением увидел, как Джерри обеими руками обнимает наше большое кожаное кресло. Пыхтя и задыхаясь, он его выталкивал в открытое окно. Решив, что он выбрасывает старика Стэнли, я ждал, что снизу грянет дикий грохот. Но он, оказывается, всего-навсего выпихивал кресло на металлическую пожарную лестницу и, поставив его там, сам вылез следом с чашкой кофе в одной руке и с «Лайфом» – в другой. По обложке бежало «Побочное действие вредных привычек». Оказывается, он там любил посидеть в хорошую погоду, подремать, почитать газетку. А то снимет рубашку, загорает. На груди у него был коврик из курчавых седых волос, и этот коврик книзу суживался, клином входил в пупок, а на левом бицепсе была у него татуировка: красная роза, а под ней свиток с голубыми буковками, но они так выцвели, что не разобрать ни единого слова. По-моему, там было что-то такое «навек», хотя с тем же успехом это мог быть и «навык» и даже «навес». Пожарную лестницу с креслом он называл – балкон, в точности как я, но с этого балкона только и видно было, что тылы домов, внизу проулок и гнутые-перегнутые мусорные баки. Ну и небо, конечно. Муниципалитет перестал заменять в фонарях перегоревшие лампы, один за другим они все погасли, и так темно сделалось в округе – сиди себе на балконе за милую душу и гляди на звезды. То были мои первые звезды. Как плечо Джерри, они мне твердили – «навек».

Это кресло на пожарной лестнице было, кстати, причиной того, что к нам в дверь в первый раз постучались. Пожарники, один коротышка в форме, другой верзила в белой рубашке с открытым воротом. У верзилы были волосы на груди, как у Джерри, только что черные. Он объявил Джерри, что его кресло преграждает запасной выход. «В случае риска безопасности» – так он сформулировал. Джерри сначала спорил, объяснял, что, если вдруг загорится, я, мол, и через кресло могу скакнуть, хотите покажу, как я через кресло прыгаю?

Но они не хотели, и разозлились, что он смеет им возражать, и велели мигом убрать это долбаное кресло с пожарной лестницы на хрен. Ну и Джерри взял кресло и втащил обратно, пыхтя и урча, как медведь. Через два дня он поставил это кресло обратно. Борьба с системой – так у него это называлось.



Когда нога у меня совсем прошла, я всерьез занялся разведкой и поисками выхода. При всей прелести нашей комнаты для меня она в некотором роде была тюрьма, золотая, извините, конечно, клетка. И несколько недель спустя я не в шутку затосковал по книжному магазину, по толкотне и гаму субботних вечеров, даже по рискованным ночным походам на

Сколли-сквер я затосковал, но больше всего, конечно, я тосковал по «Риальто» с моими Прелестницами. Было у Джерри несколько номеров журнала под названием «Кабаре», я их с удовольствием просматривал, там были цветные фоточки Прелестниц, почти голых, иногда на четвереньках, иногда нет. И часто они лежали на коврах, но это было все-таки не то, нет, не то что в кино.

Сперва я решил, что из этой комнаты нет вообще никакого выхода, что бегство невозможно. Щель под дверью была слишком узкая, и если я, скажем, и мог бы спуститься по пожарной лестнице, обратно мне бы в жизни не взобраться, а я совершенно не собирался окончательно рвать когти. Была, естественно, возможность метнуться за порог, когда Джерри откроет дверь – даже и со своей хромотой уж его-то я был пошустрей, – но не этого я хотел, не этого. Меня бы тяготила такая зависимость от Джерри. Нет, мне именно хотелось знать, что могу уйти в любое время, в любой момент, когда заблагорассудится, мне хотелось обладать именно этим чувством свободы. И вдобавок, поскольку все книги в данном помещении я уже перечитал по меньшей мере дважды, что же дальше меня ждало? – какая убийственная скука, когда Джерри будет уходить, – одинокие вечера, пустые ночи. А где-то я прочитал, что со скуки можно натворить истинных ужасов, так что в результате света белого не взвидишь, вконец себе испортишь жизнь. Их, собственно, и творишь, эти ужасы, для того именно, чтобы себе вконец испортить жизнь, только бы больше не маяться скукой.

Ну и вот, я уже чуть ли не дошел до этой точки, то есть до ручки, когда начал работать над Большой дырой. Я к тому времени поднаторел по части дыр, я знал про них буквально все, знал их свойства, отличительные черты и где больше вероятность их обнаружить – плохо пригнанный светильник, отставшие доски, огрехи водопроводной системы, – и скрупулезное обследование каждого сантиметрика привело меня к выводу, что в комнате Джерри ничего такого нет. Единственной существенной дырой – существенной? применимо ли к дырам это слово? – оказалась щель возле дренажной трубы, там, где она уходила под пол, щель и достаточная, может быть, даже для неприлично разевшейся мыши, но не для крысы, пусть и предельно subtilной. Однако, наследник и ученик древних копателей Пемброка, я и тут не дрогнул, не отступил и вот в один прекрасный день, когда Джерри не было дома, взялся превращать маленькую щель в большую щель. Это у меня получило название: Конструирование Большой дыры. На проверку все оказалось не так уж трудно. От десятилетий сырости дерево разрыхлилось, кусать его было раз плюнуть, и за каких-нибудь два дня дыра была готова, я аккуратно подровнял края, затупил углы.

Ожидая случая испытать дыру, я едва сдерживал волнение. Как безумец, я мерил шагами комнату, стаскивал книги с полок и оставлял распахнутыми на полу – ах, не до слов мне было, не до слов – или рассеянно жевал, глодал края Отеля. В конце концов Джерри отшвырнул свою газету и прикрикнул на меня: «Ради Христа, Эрн, хоть минуту ты можешь посидеть спокойно, елки-палки?» Уж и не знаю, как это могло бы отразиться на наших

отношениях, но, к счастью, вскоре он наконец встал, накинул на шею галстук и вышел. Едва услышав хлопок входной двери, я стал спускаться. Ужасно было неприятно его обманывать, но как я мог ему объяснить? Если бы имел возможность писать, оставил бы записочку: «Дорогой Джерри, я проел дыру у тебя в полу и пошел гулять. Прости меня и не сердись. Целую, Эрни». А может быть, я написал бы «Твой Эрни».

Под полом я обнаружил все те же вечно пыльные каньоны между стропил, но ни следочка зубов, ни туннельчика, ни единого знака, который бы свидетельствовал о том, что прашуры отваживались сюда добираться. По сточной трубе пройдя сквозь пол, я подобрался к значительно более крупной трубе, поднимавшейся из тьмы, изглубока, откуда-то снизу. Я перебросил через край кусок отставшей штукатурки и слушал, как он рикошетом отскакивает от стен шахты, и потом слушал тишину, далекую тишину внизу. Я заключил, что это – та самая большая черная труба, которой я воспользовался в судьбоносный день – давным-давно, – когда впервые поднялся из подвала. С тех пор я поднабрался сведений о трубопроводной системе из книг под стрелкой УСТРОЙСТВО ДОМА. Я, например, знал, что эта большая черная труба служит главным дренажным устройством, посредством которого опорожняются все сливы и все сортиры в доме, потому-то она такая большая, а сверху она соединена с трубой поменьше, уже на крыше, и та труба служит для того, чтоб вакуум не образовывался, когда кто-то спускает в сортире воду. Люблю я узнавать такие вещи, хотя знать, как действует сортир, – не совсем то же, что спускать там воду: удовольствие, какое только смутно могу себе представить. «Сухие трубы разума: фантазии кабинетного водопроводчика».

Этой центральной трубе я дал название Лифт. Лифт спускался прямо в подвал «Книг Пемброка», с остановкой на каждом этаже. Карабкаться вверх-вниз по шахте на сей раз мне показалось трудно, да, куда трудней, чем во время былых моих эскалад, и не только из-за увечной ноги. О, если бы только из-за ноги! То и дело приходилось останавливаться, чтобы перевести дух, и я уже не в состоянии был подтягиваться на передних лапах, как в былое время.



Спускаясь в первый раз, я вышел на втором этаже, у заведения дантиста. Комнат здесь было две, приемная и сверлильня. Стены белые, на полу линолеум, лоснистый, мягкий, и запах, как от мокрой газеты. В центре сверлильни на стальном пьедестале виселось гигантское кресло, а рядом свисали с подставки орудия пытки. И ни в одной из этих двух комнат нечего поесть, и почитать тоже нечего, только брошюры про порчу зубов с цветными картинками, изящно иллюстрирующими эту порчу. Я ощупал языком свои передние зубы – все нормально. Вот я умру, и столетия спустя археологи – будут тогда еще археологи? – откопают мои длинные желтые зубы и скажут: «Смотри-ка, Джо, ни единого дупла!» Как мальчик в брошюрке, сияя восторженно: «Ой, мам, смотри, ни единого дупла!» Ой, мам, ни единого дупла. О Фло, смешная ты моя старушка Фло, были у ней свои замашки, свои приемы и повадки, теперь они мне кажутся неотразимыми – походочка, как в море лодочка, могучий храп и тот пикантный привкус в молоке. Ни единого дупла, но память, память дает сбой, память портится, ее разъедает кариес. Что-то, я замечаю, вы больше не смеетесь над моими шутками. Читатель, где твоя улыбка?

Получив доступ к Лифту, я скоро взял себе манеру спускаться в книжный магазин, как только Джерри выйдет за порог. Я даже снова начал смотреть то, что показывали в «Риальто». В «Риальто», единственном заведении на всю округу, жизнь была ключом. Я объясняю это так: когда прочие заведения почти сплошь стоят запертые-заколоченные, людям больше некуда податься и они идут в кино. Иногда Джерри возвращался домой раньше меня. Он, конечно, видел, что я гуляю сам по себе, и – никогда ничего, никаких

укоров-возражений. Он обращался со мной как с равным. Бывало, подтягиваюсь, лезу из дыры, а Джерри, сидя за столом, повернется и скажет что-нибудь такое: «А-а, Эрни, ну, как прогулялся?» В такие минуты я буквально изводился оттого, что не в состоянии ему ответить: «Ха, Джерри, да шикарно!»

Теперь я снова мог являться в магазин и часто там задерживался на прежних моих постах в течение дня, я смотрел вниз с Воздушного Шара, я смотрел вдаль с Балкона, всегда осторожничая, таясь, высовывая только кончик носа, один глаз, а иногда я ночи напролет читал. Книжный магазин уже вовсе не был тем веселым местом, каким казался прежде. Его, как туча, накрывал дух обреченности вместе с удручающим слоем вполне реальной пыли.

Шайн, по-видимому, давно в руки не брал своих индюшиных перьев. Пыль не стирал, не посвистывал, и под глазами теперь были у него такие синяки, как будто кто-то ему фонари наставил. И посетителей стало гораздо, гораздо меньше. В эту часть города теперь мало кто заглядывал. Наверно, в душе уже поставили на нас крест.

Глава 11



Как-то прелестным сентябрьским утром Джерри меня впервые вывел в люди. Мы только что позавтракали: тост, крепкий кофе – и тут он потянулся и достал с горы коробок красную коляску. Я думал, он в нее погрузит вафельницу или тостер, они уже неделями томились в кладовой, но нет – снял с пирамиды самую верхнюю коробку, положил на пол и стал из нее вытаскивать книги и швырять в коляску. Я заметил красно-желтую обложку «Подменыша», кровью налитые буквы, морозящие красные клыки гигантской крысы, но было тут много экземпляров и другой книги – простая бумажная обложка, выпадающие страницы. Он загрузил по кипе каждого издания, потом поднял коляску вместе с книгами – да уж, силач был, – и я услышал стук его шагов по лестнице. Я чуть было не кинулся к Лифту – спуститься, глянуть, что там творится в «Книгах Пемброка», как вдруг слышу: возвращается. «Пошли, Эрни», – говорит. Наклонился, сгреб меня. Посадил к себе на плечо, и, держась одной лапой за его отставшую кудрю, я на нем выплыл на тротуар.

Я и прежде ездил на его плече, по комнате кругом, и всегда с большим удовольствием. Приятно было обольщаться мыслью, что он верблюд, я Лоуренс.⁶⁶ В первый раз, когда он меня так посадил, я, конечно, воспользовался случаем для обследования его висков. Наученный горьким опытом с Норманом Шайном, я уже ничего не принимал на веру. Но, пошарив в подлесе, я не нашел никаких таких серповидных гряд, только утешительно гладкую равнину, слегка шершавящуюся у воротника, так что под портретом

⁶⁶ Есть несколько вполне знаменитых Лоуренсов, но здесь имеется в виду, конечно, *Томас Эдвард Лоуренс* (1888–1935) – британский воин, герой Первой мировой войны, исследователь дальних земель, ученый и писатель, прозванный Лоуренсом Аравийским, так как значительную часть жизни он провел в пустынных местах Египта.

Джерри я смело написал ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА.

Джерри сел на корточки возле коляски и все книги сложил пачками, названием вверх. Я взобрался на самую большую пачку, и он провез коляску, книги и меня, по солнышку, через всю Тремонт-стрит, к Городскому парку, и вот таким манером я сызнова столкнулся с торговой стороной книжного бизнеса.

Раньше лишь однажды мне случилось при дневном свете увидеть мир людей, и лучи солнца, высокие дома, и все в листве деревьев, прохожих, пестрые цветы – но тогда я буквально умирал со страху. На сей раз, путешествуя в коляске Джерри, я страха не испытывал, и я смело смотрел людям в глаза, оглядывал деревья в вышине и чувствовал то, что, кажется, зовется счастьем. Сама собой сложилась фраза: «Мир прекрасен», – и я запустил ее в синее небо, и все оно, как флаг, дрожало на ветру. Конечно, тут была и зависть, была, была, во рту стояла горечь, как от желчи, мир этот был – не мой мир при всем при том, – но я ее сглотнул. Люди на нас пялились, пока мы проезжали, в особенности на меня, и я твердо, не мигая, встречал их взгляд своими черными глазами.

Торговлю мы открыли прямо у станции подземки на Парк-стрит. Джерри прислонил к коляске кусок картона. Там от руки, цветными буквами, было выведено: КНИЖНАЯ РАСПРОДАЖА. НОВЫЕ КНИГИ, КАЖДАЯ С АВТОГРАФОМ. Я, конечно, все эти коммерческие штучки знал не понаслышке, знал как свои пять пальцев, и, если бы спросили моего совета (о, только бы спросили!), я порекомендовал бы – тактично, не корча из себя всезнайку, – задерживать прохожих, хватать, так сказать, за пуговицу, приставать. Я сказал бы: «Джерри, мальчик, суй ты товар им в нос, в нос, небось не задохнутся, да не слезай с них, покуда денег не выложат». Я был бы как тот дедушка в кино, ну вылитый, там внук выходит в большую жизнь, а он дает советы (так его и вижу: скошенный подбородок, зализанные волосы). Но Джерри был совсем не пробивной. Бизнесмен был из него никакой, прямо даже ужасный. Прислонился к стене, стоит, курит сигарету за сигаретой и ждет, когда покупатель сам набегит толпой. Не очень-то многих мы так, конечно, охмурили.

Под вечер, когда кончились уроки в школе, подростки стайкой проходили по другой стороне Парк-стрит, и они хором пели-кричали через улицу: «Джерри Магун, старый пердун», опять, опять, и как не надоест. Но Джерри проявил большую выдержку – даже бровью не повел, даже не взглянул на них, как будто и не слышит. Поменьше дети – те к нам подходили. Подходили ради меня, опустятся на корточки возле коляски и заговаривают со мной, сюсюкают, пытаются меня склонить к разным примитивным штукам, будто я им обезьяна какая. Один малолетний идиот вынул карандаш: «Кусни-ка, крыса, кусни-ка». И ведь совсем ребенок, дважды два четыре пока с трудом усвоил – ужасно унижительно.

Мы проторчали на одном месте чуть ли не целый день и в час пик проторчали, и я имел возможность наблюдать, как постепенно меняли цвет деревья, и кое-кто все-таки покупал книги, а кое-кто просто останавливался поболтать. Те, кто болтали, по большей части были и сами вроде Джерри, на книги у них денег не хватало. Так, покалякают, посплетничают насчет общих знакомых, шутки шутят, что потерпели, мол, банкротство. Друг друга они называли «старик». Я их всех глубоко заинтересовал, и дважды у Джерри спрашивали, дрессированный ли я, и оба раза он отвечал: «Нет, старик, он не дрессированный, он воспитанный». Правда, один – Грегори его звали – уходя, оглянулся и бросил мне – так фамильярно, панибратски – «Ну пока, старик». Убийственная наглость.



Хоть в дверь к Джерри почти никто не стучался, шапочных знакомых была у него тьма, и на каждом шагу его окликали: «А, Джерри, как жизнь?» «Так держать, Джерри!» – даже копы. Когда ты одинок, не вредно быть немножко чокнутым, только не надо перегибать

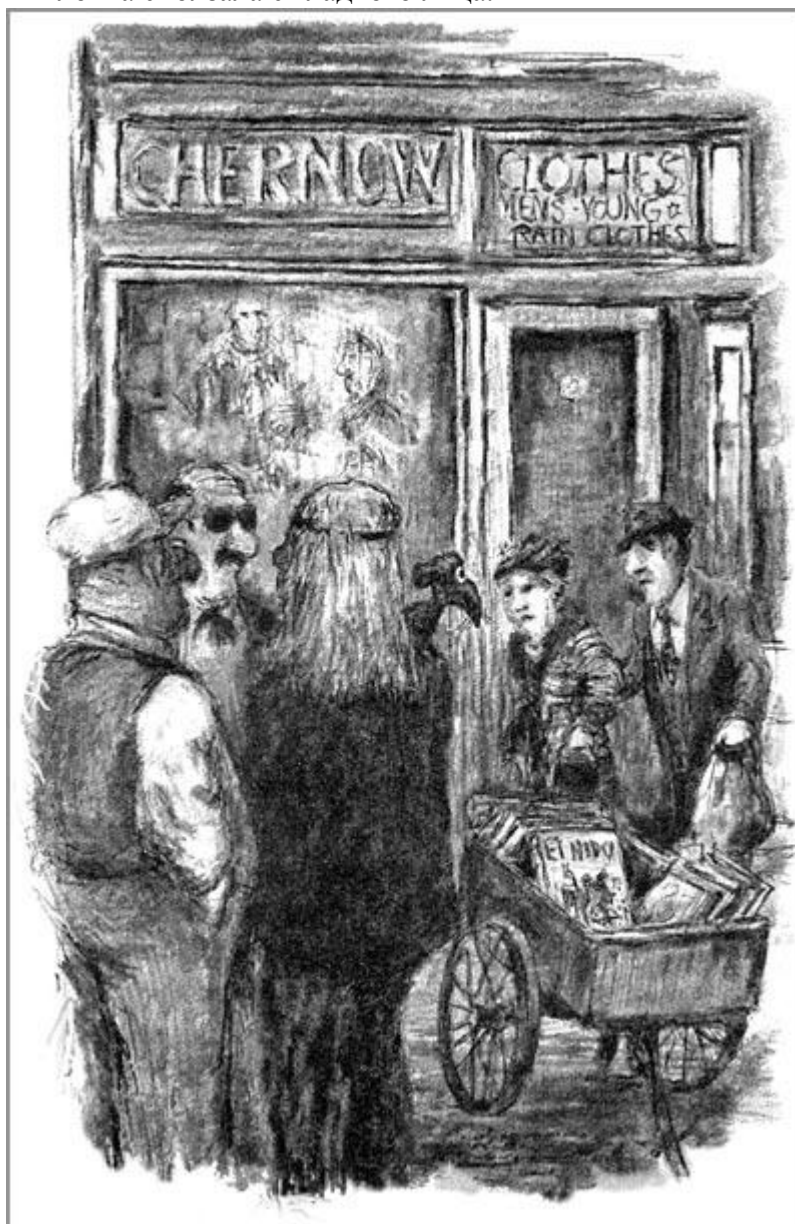
палку. Такова, во всяком случае, моя политика. И в конце концов полегоньку «Подменыш» продавался. По-моему, народ пленяла яркая обложка с огромной крысой. Как только кто-то купит экземпляр, Джерри ставил свой автограф, в качестве бонуса присовокупляя свою визитную карточку и свою другую книгу. На карточке было написано:

И. Д. МАГУН.

«Умнейший человек на свете»

Писатель из ряда вон выходящий и даже внеземной.

И то же самое он надписывал на книгах. Писатель из ряда вон выходящий и даже внеземной. Ничего, народу нравилось. Не всем, конечно, не закоренелым буржуа. Буржуа эти, которые с портфелями, в костюмчиках, только поглядывали на Джерри и хмыкали. Смотришь: стоят, переговариваются, зубы скалят. Зубы отличные. Но если вдруг взгляд такого типчика сталкивался с моим, я отражал его с таким холодным, с таким стальным презрением! Вмиг ухмылочка сползала с гладкого лица.



Время от времени кто-нибудь остановится – поспорить с Джерри, выставить его идиотом. Мысль о том, что старый помятый малый с колясочкой – умнейший человек на свете, прямо их оскорбляет, прямо покоя не дает. Ну и начинается: «Если ты такой умный, так почему же ты с тележки книгами торгуешь?» – одним словом, всякие мещанские

пошлости. А Джерри не сердился. Терпеливо растолковывал этим людям, как на самом деле он богат, потому что он свободен, не обязан ишачить ради жалованья, не должен по восемь часов в день протирать задницу на бесполезной службе. Голоса никогда не повысит, выслушает все, что ему скажут, и, погодя, глядишь, завязывается серьезный разговор с этими людьми, и Джерри уже им начинает нравиться. Некоторые потом даже сами начинали ныть, жаловаться на жизнь, на неудачную женитьбу, дурацкую работу, и частенько дело тем кончалось, что покупали книгу. В надежде, я так думаю, что, когда придут домой, она их развеселит.

У второй книжки Джерри яркой обложки не было. Если честно, это была просто кипа разрозненных страниц, которые он сам отстукал в каком-то заведении на Сколли-сквер. И кипу эту он превратил в книгу так: зажал между двумя листами темного картона, продырявил и всё вместе прошил белой бечевкой. Я смотрел и думал: и стоило же так из кожи лезть, а? Говна-пирога. Но, конечно, я мог так рассуждать исключительно в силу своего происхождения. Потом он на каждом экземпляре – синим карандашом, от руки, печатными буквами – вывел заглавие: ПЛАН СПАСЕНИЯ.

История начинается на планете Земля лет через сто примерно после того, как широкомасштабная термоядерная война между «последними империями» США и СССР до основания разрушила цивилизацию. Мало того, что сгубила все до единого большие города и даже маленькие городишки, война эта в уцелевшем сельском населении порождает звериную ненависть к всевозможным технологиям, которые оно винит во всех выпавших ему невзгодах. Правительств, в том узком смысле слова, как мы это привыкли понимать, больше не существует вовсе, а есть только бродячие банды головорезов да непрочные сообщества земледельцев. Земледельцы эти вспахивают почву простой деревянной сохой, работают на мулах, и, когда они пахут ночью, почва из-за радиации вся светится за сохой, как фосфор. По всей Земле люди страдают от ужасающих недугов, и от таких, главное, о каких до холокоста было и слухом не слыхать, и многие из этих новоявленных недугов поражают кожу, и большинство людей покрыто мерзкими болезненными волдырями. Из-за радиации, сплошь поразившей всю планету, дети рождаются неполноценными: калеками, крестинами, уродами, слепцами. Прежние религии и идеологии, сыграв столь роковую роль в разжигании последней войны, засевавшей неизбывным ночным кошмаром в коллективном бессознательном, – окончательно дискредитированы. Но поскольку все выжившие невежественны и повреждены умом – как грибы после дождя вырастают новые религии. Правда, распространяются они не широко, влияние их кратковременно, но все это лишь до тех пор, покуда не объявляются Уцелевшие.

Эта новая секта основана одним особо кровожадным, отъявленным головорезом по имени Джон Хантер. Тот спокойно злодействовал, насиловал себе, грабил и убивал в одной мелкой деревушке, как вдруг веткой дуба его срезало с коня. Он остается цел, казалось бы, отделался человек легким испугом, ан нет, вскоре затем он начинает получать сигналы из космоса, а из сигналов этих выясняется, что род человеческий вовсе и не зародился на Земле, отнюдь не развивался вместе со всеми остальными видами, а пошел, наоборот, от тех, кто случайно сюда некогда попал, счастливо уцелев после крушения космического корабля. Это новое учение как нельзя более совпадает с общим настроением эпохи: нет, не наша это планета. И кому ж такую планету захочется назвать своей? И вот Джон Хантер открывает людям, что им надо одно – спастись, а чтобы спастись, надо каким-то образом подать сигнал мимопроходящему инопланетному кораблю. А технологии-то у них самые что ни на есть отсталые, ни тебе радио, ничего прочего такого типа, и как в таких условиях подашь требуемый сигнал – еще большой вопрос. Но у Джона Хантера ответ как раз имеется. И он объясняет людям, что просто-напросто надо построить пирамиду, такую большую, чтоб видно было из космоса. Два года он убивает на то, чтоб все пространство, назначенное под эту пирамиду, обставить вежами, и он привлекает все более широкие массы последователей по мере продвижения трудов. И когда основание этой пирамиды все наконец обмечено, оно полностью покрывает старинные штаты – Небраску и Канзас, и большую часть Миссури, и

Айовы, и Южной Дакоты.



Горя неистовым энтузиазмом, массы принимаются за дальнейшую работу, выламывают и перевозят камни. Миллионы забывают о голоде и жажде в трудовом порыве, буквально бредят трудом, и труд для них дело чести. Ну а затем постепенно со временем зреет инженерная мысль, развивается инженерное искусство, и, разумеется, уже не обойтись без бюрократии. Дабы прокормить все эти миллионы трудящихся, расширяется и процветает сельское хозяйство. Железный плуг сменил соху, в хозяйстве теперь успешно используется борона, а кое-где даже и простенькая молотилка. Громадный дворец и храм воздвигнуты в каждом углу пирамиды – для нужд Джона Хантера и его жрецов. Когда же наконец Джон Хантер умирает, ему наследует блистательный и беспощадный сын его Кевин Хантер, его в свою очередь сменяет слабый и распутный Уилсон Хантер, и так далее вплоть до самого последнего лидера, абсолютно помешанного Боба Хантера. А работа тем временем идет уже сто десять лет подряд, расходы на строительство гигантской пирамиды поглощают чуть ли не все скудные ресурсы планеты, а люди мрут как мухи от мутаций и болезней. Последний пережиток людской расы гибнет среди бурана, тщась доставить из Техаса непосильно тяжелый камень.

А столетия спустя инопланетяне таки высадились на Земле. Они ужасно удивились, увидев громадную неоконченную пирамиду, и даже организовали на Земле исследовательский центр по ее изучению, но, как ученые ни бились, вопрос о том, с какой целью ее воздвигли, так и остался нерешенным.

Мне эта история, в общем, не так понравилась, как «Подменыш», может, потому, что в ней нет крыс. Правда, мне понравилась вся эта семейная сага, вся эта история про то, как Хантеры, дурея от власти и радиации, с течением времени делались все отвратней. Понравилась сама идея. А Джерри говорит, книг его не хотят публиковать, дескать, потому, что их страшит идея. Зато мой взгляд здесь в точности угадан: что наша жизнь – игра и что ни день она быстрее катится к концу и делается все отвратней.

Глава 12



Немало счастливых часов выпало нам с Джерри. Особенно любил я наши завтраки: блюдечко кофе с молоком, совместное чтение газеты. Как-то раз во время завтрака мы прочитали в «Глоуб» про Адольфа Эйхмана.⁶⁷ И были фотографии: целые поезда живых скелетов, вагоны для скота, костлявые руки тянутся к щелям между досок, груды иссохших трупов – лица, как у крыс, – и Джерри тогда сказал, что ему стыдно быть человеком. Новая для меня идея.

Я, можно сказать, пристрастился к кофе, ну и к вину, конечно, хоть по утрам вина себе никогда не позволял, да и вечером не всегда – разве что если дождик. Когда подкатывало время ужина, Джерри обыкновенно готовил разное из банок. Больше всего нам нравилась говяжья тушенка. Иногда он к ней варил еще и рис, а иногда, когда у нас с деньгами было туговато, мы довольствовались одним рисом с соевой подливкой. Усы у Джерри были пушистые, рисинки к ним притягивались как к магниту, когда он ел – буквально подпрыгивали, ей-богу. Потом, когда уж удостоверился в прочности наших отношений, я бывало, снимаю рис лапами у него с усов и ем. И Джерри хохотал. Когда он хохотал, легко было себе представить, что он самый счастливый человек на свете, не только самый умный.

И вовсе не всегда он на ночь глядя уходил – все чаще, по мере того, как недели шли и надвигались холода, – мы проводили вечер, вместе растянувшись на нашем старом Стэнли, слушая записи, все больше Чарли Паркера и Билли Холидей.⁶⁸ Проигрыватель у него был шикарный, с двумя колонками, и мы потягивали красное вино, которое он кувшинами носил из «Пива и Эля» Додсона на Кембридж-стрит. Своей посудой я не обзавелся, так что лакал прямо из его стакана. Я сидел на ручке кресла, а если вдруг переберу, сваливался к нему на колени. И он хохотал, а я – положим, хохотать я не умею – радовался от души, а это все равно что хохотать. Я всегда был большой любитель джаза, это из-за Фреда Астера, теперь вот и кое-чем свеженьким проникся. Одну, долгоиграющую, под названием «Солнца нет в Венеции», мы ставили раз сто, такая тихая, печальная, с Милтом Джексоном⁶⁹ на вибрафоне. И вибрафон, по-моему, у него звенит, как будто бы по пустому городу, городу из стекла, бредет одиноко крыса, лапами цокает по тротуару, и этот тоненький, тоскливый звон эхом отдается от домов.

Порой, поздно ночью, в темноте, лежа у себя в коробке на полотенце из «Отеля Рузвельта» (теперь невидимом под ватой, которую я понадергал из Стэнли), я все слушал, слушал музыку, она у меня звучала в голове. И я не выключал. Лежал с открытыми глазами в темноте и думал про моих Прелестниц. Терся мыслями о бархатную кожу, зарывался в тайное, тенистое, теплое. И томление делалось так остро – стрелой меня пронзало вдоль всего хребта. Я не постигал буквально, как Джерри может такое выносить: один-одинешенек бредет по своему безжизненному миру, бормочет про себя, мотает большой башкой? Да будь я человеком, вышел бы на улицу, мгновенно закадрил первую молоденькую встречную,

⁶⁷ *Эйхман, Адольф* (1906–1962) – нацистский преступник, руководивший депортацией и массовым уничтожением евреев во время Второй мировой войны; сумел избежать Нюрнбергского процесса, долго скрывался в Израиле, изменив наружность, но в конце концов был разоблачен и казнен во исполнение давнего заочного приговора.

⁶⁸ *Паркер* (Чарлз Кристофер, в обиходе Чарли) по прозвищу Птица (1920–1955) – американский джазовый музыкант, исполнитель на альт-саксофоне; создал джазовый квинтет и другие ансамбли; один из основоположников джазового стиля бибоп; *Билли Холидей* по прозвищу Леди Дей (1915–1955) – американская легендарная джазовая певица

⁶⁹ *Джексон, Милтон*, настоящее имя Барри Кристи (р. 1923) – знаменитый английский вибрафонист, а также пианист, гитарист и композитор, известный своей мрачной, навеянной техномотивами музыкой; вибрафон – ударный инструмент, состоящий из металлических пластинок разной длины и соответственно разной высоты звучания.

сверкая черным взором над бесподбородочной улыбкой, и уж обольстил бы, купил, а нет, так изнасиловал. А Джерри – Джерри брел себе в своей арктической тоске, до того одинокий, что разговаривал с крысой.

И все же, все же в то золотое времечко, за завтраком плюс чтение газет, допоздна слушая музыку в нашем большом кресле, я порой испытывал нечто, очень похожее на счастье. То не было безумное веселье минувших дней, дней в книжном магазине. Нет, теплей, нежней, и почти сумеречное это было чувство.



Иногда мы совсем увлекались, забывались, запускали Птицу на всю громкость, и на ударных был сам Джерри (колотил по ручкам кресла), а партию рояля исполнял я, бухал, как говорится, ого-го, дым коромыслом. Мы поднимали такой грохот, что малый из соседней комнаты – Сирил его звали, и у него торчали волосы из носа, и часто ночью мы слышали, как он рыдает, – дважды подходил к нашей двери, стучал в нее ладонью и орал, чтобы мы прикрутили звук. Эти два раза плюс визит пожарника – в сумме и составили те три раза, что нам стучали в дверь.

Джерри здорово меня натаскал по части джаза – свинг, импровизация, всякое такое, – я впоследствии все это применял в собственном творчестве. Бывало, музицирую, а Джерри говорит. На мне белая рубашка в синюю полосочку, рукав подвязан, точь-в-точь как у Хоуджи Кармайкла в «Иметь и не иметь»,⁷⁰ и я тихонечко, как бы машинально, перебираю клавиши, создаю, что ли, мягкий музыкальный фон, в точности как он в этом кино, покуда Джерри винцо потягивает и предается воспоминаниям о детстве, далеком детстве в Уилсоне, Северная Каролина, и о том времени, когда он в армии служил. Он туда попал как раз в самом начале войны, Второй мировой войны. Узнав, что он крестьянский сын, его приписали к резервному полку и услали в Техас приучать мулов, и там однажды серый громадный мул Питер заехал ему копытом в морду. В результате левый глаз вывернулся на сторону да так и остался. Кроме вечных головных болей и косоглазия, удар Питера за собой повлек небольшой ежемесячный почтовый чек. «Так что, видишь, Эрни, на поверку этот долбанный мул прямо меня озолотил». Одно из великих достоинств Джерри – он всегда смотрел в корень, да, это он умел.

А еще он мне рассказывал про то, как жил в Лос-Анджелесе перед войной и снимался – роль, правда, была без слов – в фильме под названием «Всадники в ущелье». Он и про книги много говорил, про литературные дела, всю эту кашу. Никто, он говорил, не умеет писать лучше Хемингуэя, разве что Фицджеральд, да и у того только один раз получилось. И еще рассказывал про то, какие дивные дела творятся на «Побережье» – это он Западное побережье⁷¹ имел в виду, – и говорил, что Бостон гиблый город.

Еще мне нравилось, когда он рассуждал про революцию, про Джо Хилла, Петра Кропоткина,⁷² про забастовки. Любимое его присловье было: «Вот после революции...»

⁷⁰ По роману Хемингуэя «Иметь и не иметь» создано несколько экранизаций. Кармайкл, пианист и джазовый композитор, играет на рояле в фильме 1944 года, снятого Ховардом Хоксом с Хемфри Боггартом в главной роли.

⁷¹ То есть Западные Штаты, имеющие выход к Тихому океану. Чаше всего (и в данном случае), говоря о Западном побережье, имеют в виду Калифорнию.

⁷² Хилл, Джо (1879–1915) – профсоюзный деятель, автор и исполнитель песен. По недоказанному обвинению в убийстве был приговорен к смертной казни и расстрелян; Кропоткин Петр Алексеевич

Когда у него покупали книги, он оправдывался, извинялся, что берет за них деньги, и обещал, что книги будут бесплатные после революции – такая социальная услуга, как уличные фонари. Еще он говорил, что Иисус Христос был коммунист, и тут многие возмущались.

Джерри говорил, я слушал. Постепенно я все больше и больше узнавал о его жизни, тогда как он, можно с уверенностью сказать, все меньше и меньше узнавал о моей. Из-за моей прирожденной сдержанности он мог распоряжаться моей личностью как ему угодно. Мог лепить из меня все, что вздумается, и скоро стало беспощадно ясно, что, глядя на меня, он видел в основном шустрого зверька, дурашливого, довольно-таки глупого, что-то вроде очень маленького песика с торчащими зубами. Он и отдаленного представления не имел об истинном моем характере, о том, что я на самом деле грубо циничный, умеренно порочный и печальный гений, и книг я прочитал побольше, чем он сам. Джерри я любил, но опасался, что в ответ он любит вовсе не меня, но плод собственной фантазии. Увы, мне ли не знать, как можно втюриться в этаким плод! И в глубине души я понимал, я понимал, хоть корчил блаженное неведение, подыгрывая Джерри, что в те совместные наши вечера, когда он пил и говорил, в сущности, он говорил с самим собой.

Что это? Хмыканье или мне показалось? А-а, вы думаете, значит, что меня подловили. Ах, да я *знаю, знаю* я, что раньше говорил, – признавался, свидетельствовал, торжественно и при своей извращенности даже похваляясь, – про мою любовь к щелям, почти патологическое желание вечно прятаться, про мое пристрастие к маскам. Так почему ж такое, вы, значит, спрашиваете, я вдруг разнюнился, когда мне представилась такая прямо роскошная возможность спрятаться, отличный, скажем так, шанс скрыться под непроницаемым обличем милого домашнего зверька? Ну ладно, объясняю: если я, например, надену маску по собственному капризу – когда хочу, тогда сниму, тут полная свобода, и если на меня ее силком напялят, тут есть ведь некоторая разница, а? – разница, как между ласковым приютом и тюрьмой. Да я бы с удовольствием так и топал по жизни, скрытый в своих мехах – ручной зверек, – если бы только знать, что в любой момент могу сдернуть с себя любимую мордашку и предстать таким, каков я есть на самом деле. Привет, Джерри, это я! Никогда бы ничего такого я не сделал, но помечтать-то можно.

Я мужественно носил маску, но вечно она терла, и порой трудно было удержаться, я слегка подгладывал края. И когда на меня вдруг накатит, я гадил в самых деликатных местах: в тарелку Джерри, ему на подушку. Ему на это было с высокой горы плевать, и опять же – никак не доходило, что это не ручной зверек, что это добрый старый Фирмин безобразит. А как-то раз, когда он рассеянно чесал меня за ухом, я повернулся и ужасно, подло его куснул. За указательный палец. И зачем я только это сделал? «Блуждая по садам раскаяния».



Из комнаты мы выбирались вовсе не только для того, чтоб сбывать книжки в Городском парке. Однажды мы в кино ходили. Было начало сентября, день пасмурный, вонючий. Джерри уже собрался было выходить, уже и дверь открыл. Я сидел на столе, доедал его обед, читал вчерашний «Глоуб». Джерри вдруг замешкался, повернулся, бросил на меня взгляд, который, тогда мне показалось, говорил: «Бедный старый Эрни, один остается». Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что взгляд был скорей недоуменный. Может, в нем содержался некий такой вопрос, ну вроде: «Да что тут, собственно, за зверь?» Предпочитаю этот вариант. Но, как бы там ни было, он вернулся, сгреб меня. Сунул меня в

карман пальто, и мы пошли в кино.

Тот путь в «Риальто» интересный был невероятно, хотя в известном смысле и наводил тоску. Никогда еще я не проделывал этот путь в дневное время и теперь, выглядывая из-под карманного клапана, я поражался тем, как все, оказывается, может испоганить дневной свет, особенно когда он тусклый, серый, мало отличим от света, какой точился встарь ко мне в подвал. И тут не только в освещении дело. Мир, который я насочинял, наворожил, а думал, будто знаю досконально, – мир глухой, таинственный, расцвеченный игрой теней, мир романтический, волнующий, хоть и чреватый западнями – оказался сплошным надувательством. Под серой поволокой весь он выцвел. Просторы начисто лишились глубины: так, просто тусклые, серые панели. Запустелые дома, заколоченные окна, водостоки, забытые разной дрянью, серые сморщенные лица. Вялость, тоска, печаль – безысходное уродство. Я, правда, решил на все плевать, не портить себе настроение – я так радовался, что вышагиваю по бостонским улицам в кармане одного из лучших в мире писателей. Конечно, «вышагиваю» – сильно сказано, точнее, я плелся кое-как, но вот я говорю «вышагиваю», я схватываю суть вещей.

Я пересмотрел все фильмы, какими располагал «Риальто», все до единого, и некоторые по многу раз, но был всегда готов смотреть их снова. Когда мы подошли к билетной кассе, Джерри поглубже засунул меня в карман, так что я не видел афиш и понятия не имел о том, что сегодня на экране. Так я и корячился, пока он покупал попкорн и колу, а потом мы прошли через весь зал, в передний ряд. Народу было всего ничего, кроме нас, несколько человек на весь зал. Сеанс начался почти сразу, и, как назло, фильм оказался тот, который я буквально ненавижу, хоть и Техниколор,⁷³ что я, в общем, считаю плюсом. Называется «Годовичок», сентиментальная такая муть – бедный мальчик, при нем ручной олень. Вообще я лично терпеть не могу историй с участием зверей. А Джерри, наоборот, наслаждался, и я понял, что меня он взял с собой, рассчитывая тоже угодить, и мне стало от этого ужасно грустно и тоскливо, хоть я и делал хорошую мину при плохой игре. Кроме оленя этого и множества собак, в фильме участвует большой медведь по прозвищу Косолапый. Когда он появился на экране, Джерри покосился на меня, проверить мою реакцию, и тут я стал ради него безбожно переигрывать: разинул рот, поднял передние лапы, сам весь отпрянул. Джерри был доволен, я заметил. Фильм все идет, идет, происходит куча всяких неприятностей, и вот в один прекрасный день, когда этот самый олень, значит, съедает последние запасы зерна у наших бедняков – притом уж в третий раз подряд, – хозяйка хватается ружье и в него стреляет. Я лично был только рад, хоть и заметил, что Джерри утирает слезы.



Мы еще остались. Высидели «Путь к Сан-Антонио», «Безумное чудовище», а дело шло уже к полуночи. Я надеялся, что на закуску нам покажут Джинджер Роджерс, и Джерри увидит наконец сцену смерти и преображения, но вместо этого был Чарли Чан. В полночь, когда великий китаец погас, не кончив фразы, началось, как всегда, шарканье, покашливание в темноте. Потом проектор снова, жужжа, вернулся к жизни, и ангельское вознесение началось. На сей раз это оказалось «Как кошкам мужчинки захотелось» – обожаю. Две Прелестницы, одетые в костюмы кошек, – восхитительные усики, а ушки, ушки! – стараются изловить мужчину, одетого крысой, ну, может, это мышь, не знаю. Они его гоняют по большому дому, можно сказать по особняку, но он ловчей, быстрее, проворней, он

⁷³ Фирменное название системы цветного кино, отличающееся особенной яркостью красок.

перескакивает через стулья, взбирается по шторе, качается на люстре. В конце концов кошечки меняют тактику. Притворяются, будто оставили попытки его поймать. Зевают, потягиваются, делают вид, что собрались спать. И вылезают из своих костюмов, постепенно – сначала плечики, потом одна пленительная грудь. Ах, как они прекрасны. Ну и конечно, увидав их нагишом, большая крыса тут же соскакивает с люстры и спаривается с обеими. Обычно я терпеть не могу, когда моих Прелестниц покрывает нечто столь вульгарное, как человеческий самец, в подобных случаях я буквально отвращаю взор, но этот фильм – исключение: причины очевидны. Правда, я не был уверен, что Джерри все это тоже придется по душе. И потому, когда кошки стали вылезать из своих костюмов, я глянул искоса – ну как ему. Он крепко спал, запрокинув голову, разинув рот. Оглядевшись, я увидел еще нескольких, с позволения сказать, зрителей, в подобных же позах, и мне пришло в голову, что, если б вы не знали, как и что на самом деле, вы бы легко могли принять Джерри за такого же отпетого, гиблого пьянчужку.

Глава 13



В октябре Джерри стал поговаривать, что хорошо бы, мол, махнуть в Сан-Франциско. Сперва я думал, это одни разговоры, но вот однажды он явился с расписанием морских рейсов и весь вечер его изучал, решая, в какие города нам стоит по дороге заглянуть. Были в списке, помнится, Буффало, Чикаго, Биллингс. Так что я спустился на Лифте вниз, в книжный магазин, и перечел все, что выискал насчет Сан-Франциско, честно сказать, не так уж много. Джерри смотрел на Фриско с оптимизмом. Вообще я, по-моему, впервые видел его столь последовательно оптимистичным, ведь был он в глубине души такой печальный человек.

Я понял, что мы скоро едем. Экскурсии на Лифте, что ни день, становились все трудней, и я поймал себя на том, что много думаю о смерти. Вот, представлялось, придет Джерри однажды вечером домой, а я мертвый лежу, холодный и окоченелый трупик. Рот, небось, чуть приоткроется, видны будут желтые зубы. (Обычно я не забываю аккуратно на них натягивать верхнюю губу.) И что он станет делать? Возьмет меня за хвост и бросит в мусорный бак? А что еще он может сделать? Похоронить меня в Городском парке?

– Чего это такое ты тут затеял-то, а, мужик?

– Да вот, крысу хороню, господин полицейский.

– Чего-чего «хороню»?

Мысль о том, что меня возьмут за хвост и бросят в мусорный бак, мне претила.

Но даже с этим подбоем печали все ясе славное было времечко, я и теперь люблю его вспоминать, а порой я в него играю, стараясь изжить тоску, и старость, одиночество. Я омолаживаю Джерри, он снова юн, и темные волосы лежат тугой волной, сияет белозубая улыбка – как на той фотографии. И мы съезжаем с квартиры в Корнхилле, мы летим высоко над Бостоном, через реку Миссисипи, над Скалистыми горами, летим, летим и приземляемся в баре – или это кафе? – в Сан-Франциско – сверкает за окном залив, – а то, бывает,

приглашу к нам присоединиться кого-то из Великих, Джека Лондона, Стивенсона, и пойдет у нас такой славный выпивон.

Всегда мне кажется, что все будет длиться вечно, а никогда ничто не длится.

Собственно, все на свете длится мгновение одно, не дольше, кроме тех вещей, какие мы удерживаем в памяти. Я всегда стараюсь все удержать – да лучше я умру, чем позабуду, – и ведь в то же время я ждал, я ждал, когда мы уедем наконец в Сан-Франциско, все бросим, все навсегда оставим позади. Да, такова жизнь – тут ничего не разберешь, сам черт ногу сломит.

Я пробыл с Джерри шесть месяцев семь дней. Облетали деревья в Городском парке, листья падали, листья падали, красно-желтым половиком устилали траву, хрустким, тусклым, и все больше закрывалось заведений на Сколли-сквер, и стояли заколоченными окна-двери. Мусор

был повсюду, на тротуарах, по водостокам, или его сгребали в кучи, и от проезжих грузовиков все это вихрилось, и летало, летало, как листья. Ночи стали тише, и я всегда слышал, когда возвращался Джерри, всегда узнавал на лестнице его шаги. Медленней и тяжелей, труднее, что ли, чем у всех других жильцов, включая даже Сирила, а Сирил был толстый, и он страдал одышкой, астмой и всегда очень медленно взбирался.

Как-то ночью лежу я без сна, вполуха, как обычно, прислушиваюсь, не идет ли Джерри, и разговариваю сам с собой, потом слышу – отворилась, хлопнула дверь подъезда, потом слышу медленные знакомые шаги по лестнице: первый этаж, остановка на площадке – все как всегда. Вот сейчас, думаю, распахнет нашу дверь и, если не напился в стельку, включит свет, разделется, усядется на край постели в одних трусах и немножечко со мной поговорит.

Он уже почти добрался доверху, когда я услышал тот шум. Никогда раньше я не слышал этого звука – как кто-то падает с лестницы, – но сразу же, еще пока он длился, долгий грохот, я понял, что означает этот звук. А потом не было больше звуков, никаких, все придавила тишина.



Я думал, разом распахнутся на площадке двери и будут крики, топот многих ног. Ничего подобного. Грохот при падении Джерри сотряс все дома в округе, но никто его не слышал. Ну а я – я же не имел возможности выйти на площадку. Хоть и признавал всю обреченность своих попыток, я и так и сяк отчаянно протискивался в щель под дверь, громко скребя когтями по полу. Потом я заставил себя сесть тихо, перевести дух, и я стал думать. Надо было найти способ добраться до Джерри, хотя, что я стану делать, когда до него доберусь, я понятия не имел. Ну вот, и я спустился на Лифте к зубокабинету и, мечась из комнаты в комнату как угорелый, искал оттуда выход на площадку. Я знал: случилось ужасное. Всю жизнь я был обременен, искалечен даже, чудовищной силы воображением, и все время, все время, покуда рыскал туда-сюда, я видел Джерри: он, разбитый, в нелепой позе лежит на площадке, и я в себе чувствовал, как он умирает, и опять он умирает, и опять. В конце концов я, падая, срываясь, оскользаясь, спустился на Лифте до самого подвала, прополз под дверь на улицу, обежал весь дом, до подъезда (с надписью – КВАРТИРЫ), совершенно не заботясь о том, что меня могут увидеть. Пустой номер. На двери были слова ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕЗ БОЛИ, а где-то, по ту сторону слов, лежал Джерри в агонии, или он уже умер.

И я вернулся в книжный магазин, с огромным трудом – весь в синяках – забрался на

Воздушный Шар и стал просто ждать. Едва рассвело, я услышал на улице крики, потом сирену. Она взвыла и немного погода стала удаляться, возбужденно жалуясь и плача, и смолкла где-то в городе, западнее Сколли-сквер.

В девять Шайн, как всегда, открыл магазин, и все они хлынули внутрь, и головы качались возле прилавка, как яблоки на крутом прибое. Поговорили про несчастный случай – все разом разрезают рты, ничего толком не разберешь, мне только удалось понять, что Джерри Могун свалился с лестницы, он без сознания, его отвезли в больницу, – и сразу плавно перешли на другие темы: как мать Кона сломала шейку бедра, как дела у «Красных Носков».

Я вернулся наверх, в нашу комнату. Она как-то разом начисто забыла Джерри, будто его сто лет уже как нет. На полку мне не удалось взобраться. На столе был непочатый батон, я прогрыз пластиковую обертку, немного от него отъел. Всю ночь я просидел в большом кресле. Чтоб отвлечь свои мысли от Джерри, я отправился в Париж, поглядеть на дом, где жил когда-то Джойс, но названия улиц сплошь повыцвели и ничего я не нашел.

На другой день ко времени открытия я был уже на Воздушном Шаре. Шайн успел смотаться в больницу: справлялся насчет Джерри. Ему объяснили, что при падении с лестницы он не разбился, но у него был удар, он без сознания, его кормят через трубочку, едва ли он оправится. Может, до утра не доживет, может, год протянет.

– Ну что ж, – сказал Джордж, – по крайней мере, во сне умрет. Да, хорошо бы умереть во сне и чтоб снилось что-нибудь приятное. – Тут он взялся было рассказывать, что ему снилось намердн, но Кон перебил:

– Говна-пирога! А посреди кошмара, мать твою за ногу, – не угодно ли?

– Ну, хоть кошмар, во всяком случае, на этом прекратится, – сказал Шайн и странно хмыкнул.

– Ни хрена, – отрезал Кон.

Я предпочитал не слышать более этого жалкого зубоскальства по поводу смерти и потому опять поднялся на Лифте к себе, пожевал еще хлебца, сел в большое кресло и усилием мечты вернул к жизни Джерри.



Я точно знал: он не вернется никогда, а потому решил, что вполне прилично будет порыться в его бумагах. Когда кто-то умер, ну или все равно что умер, это уже не шпионство, не слежка – это разыскание. А мне давно хотелось разыскать ту повесть, про крысу. Как услышал тогда, что он говорил Норману на эту тему, сразу понял: в этой повести будет мне ответ. На что ответ? Ах, да сам знаю, глупость, но я все еще искал смысла своей нелепой жизни, и я думал, что, может, Джерри его нашел, хотя бы напал на след, потому и пишет повесть про крысу. И вот, через несколько дней после того, как он исчез, я взобрался на стол, открыл тетрадь, озаглавленную «Последняя сделка» – все время, пока мы были вместе, он в ней писал, – а оттуда перепрыгнул на полку и одну, другую повиытаскал все прочие тетради. У каждой на обложке, в белом прямоугольнике, были название и дата – подряд, аж с 1952 года – «Чудо-голубь», «Вечный двигатель», «Восход Сириуса» – ну и так далее, общим числом двадцать две тетради, и всюду одно и то же: вскользь намеченный и брошенный замысел, едва прочерченная линия сюжета, характер, обозначенный с прохладцей, кое-как, страница за страницей – всё вкривь и вкось, и сплошь отсылки, заметки на полях, и фразы толкутся, натываясь друг на друга в кромешной тьме помарок, и вдруг – весь вылизанный, обласканный абзац, и вдруг – длиннющий пассаж, аккуратно перекроенный, чтоб органично засияло в тексте одно-единственное счастливо найденное слово. Целый ряд зачаточных сюжетов должен был, кажется, вести к разрушению нашей планеты. Я читал запоем, с утра до вечера, целую неделю. На ночь я поневоле делал

перерыв: до выключателя на стене не мог добраться. В тетради проскользнуло множество потрясающих идей, долгими темными ночами я доводил их до ума, и в моих снах я все их воплощал. Но никакой истории о крысе не было. Даже слово «крыса» не упоминалось – ни разу.

Я слонялся по дому, я ел батон, играл на рояле. Играл и думал про Маму, которая исчезла, про Нормана, который, собственно, не существовал, про Джерри, опять про Джерри, который перестал существовать, и про себя, конечно, который даже как-то не был вполне уверен, что ему хочется существовать. Я понял, что до сих пор не знал, что такое одиночество.

Спустя две недели явились родители Джерри – я успел спрятаться под раковиной, пока открывалась дверь. Мне, кстати, даже в голову не приходило, что у такого пожилого человека, как Джерри, могут быть родители. Невообразимо старые, согбенные, седые оба, с морщинистой и серой кожей – как гномы. Лица у них были добрые, особенно у матери, и, видно, в молодости она высокая была, теперь вся скрючилась. Они как будто вышли из волшебной сказки, и в моих мыслях эта мать поселилась под названием Старушка. С ними был еще темноволосый, помоложе, хотя не то чтобы совсем уж молодой, брат Джерри – я догадался по большой башке, – и я дал ему имя Младший Сын. Отец выглядел очень благородно – темный костюм, галстук, – и у него был большой толстогубый рот, который нечасто открывался, а как откроется, выпустит несколько слов и сразу снова захлопнется, как мышеловка, каждому суждению обрубая последний слог, как хвост спасающейся мыши. Я назвал его Король. Я из-под раковины смотрел, как они всё пакуют, то, что не в коробках, рассовывают по коробкам, а то, что в коробках, вынут, осмотрят и суют обратно. И так целый день. К тетрадкам Джерри они отнеслись без всякого почтения. Вынут, пробегут несколько страничек, обратно сунут.



Единственное, что их заинтересовало, – набитая письмами обувная коробка. Все трое сидели на постели, мать меж двух мужчин, с коробкой на коленях, и, одно за другим, она вынимала письма из конвертов и читала вслух, а муж и сын задумчиво кивали. Не сразу я сообразил, что они перечитывают собственные свои слова, что это их собственные письма к Джерри – путанные, полные невнятной болтовни и местных сплетен (кто женился, кто умер, у кого сбежала с кавалером дочь, чей сын разбил новехонький автомобиль), засоренные вечными вопросиками-паразитами («И кто, как ты думаешь, женился на той неделе?»), утыканные восклицательными знаками, которые она читала так, будто это слова («А мужа Хильды, Карла, остановили за превышение скорости, и угадай, кто с ним в машине оказался, а это была Эллен Бронсон восклицательный знак восклицательный знак»). И очень скоро все трое ударились в слезы, даже Король вывернул вниз углами свой толстый рот – как грустный клоун. А мать все читала и читала, плачет и читает, просто какой-то кошмар. Из сыновних вещей ничто не вызвало их слез, даже его рваные несчастные трусы, тем более его полупустые, брошенные, жалостные тетрадки. И рыдали они, по-моему, на самом деле над собой, над своим невозвратным прошлым. Даже представить себе не могу, чтоб собственное мое семейство хоть над чем-нибудь рыдало. Да, людям, в общем, не позавидуешь. Глядя из-под раковины, как эти трое сидят рядышком на постели и заливаются в три ручья, мать, и отец, и сын, я их переименовал в Святое Семейство.

Попозже, к вечеру, пришли какие-то двое и все забрали – книги, мебель, ложки-плошки

даже, все-все, кроме мусорного бака и рояля. Решили, видно, что никто не польстится на ржавый гнутый бак и детский сломанный рояль. С баком я расстался без всяких сожалений, мне, кстати, и бросать-то туда было нечего, но я был очень рад, что мне оставили рояль.

Глава 14



Мне надоело глотать батон, и я вернулся к снабжению в «Риальто». Там крутили все те же ленты, но стало меньше, с позволения сказать, зрителей, и меньше продовольствия на полу. Да у меня, между прочим, и аппетита особого не было, а попкорн и сникерсы тем более не слишком вдохновляли. В книжном магазине я теперь проводил не так уж много времени.

Он на меня наводил тоску, а на Шайна глаза бы мои не глядели. Я бесцельно влачил свои дни, я форменно погибал, угнетенный горем. То было не такое горе, когда вы в голос рыдаете и рвете на себе волосы. Скорей, это была хандра, неодолимая скука. Меня угнетала скука. Жизнь на меня наводила скуку, была скучна литература, и даже смерть была скучна.

Только с моим маленьким роялем мне не было скучно, и по мере того, как шли недели и книжный бизнес все больше хирел, я все больше времени проводил за роялем, бренча, что называется, по клавишам и напевая про себя. Порой я забывал поесть, или не то что забывал, а неохота было до самого низу тащиться в Лифте и потом переть по дымным улицам к «Риальто». Я ощупывал лапами бока и чувствовал, что ребра у меня торчат, как черные клавиши рояля. Все меньше и меньше покупателей заглядывало в «Книги Пемброка», даже литературно-порнографический бизнес сходил на нет. И Шайн наконец перестал покупать – никаких тебе больше распродаж, аукционов, и старый «бьюик» уже не скреб, перегруженный, бампером тротуар. Исчезла и затейливая старинная касса – купил какой-то делец с Бэк-Бей.⁷⁴ Шайн теперь отсчитывал клиентами сдачу, зачерпывая деньги прямо из серой металлической коробки. И с каждым днем на полках все меньше оставалось книг, все больше между ними сделалось зияний. Никакого тебе Достоевского под «Д», никакого под «Б» Бальзака. Один за другим Великие драпали, пока не поздно. Шайн все еще хорохорился, но я-то помнил былое времечко и видел, что он дошел до ручки.

Что ни день бумаги о выселении, требования срочно выматываться сыпались на какой-нибудь квартал, на все дома подряд, что ни день вслед за визитом почтальона заколачивались окна, подъезжали к дверям фургоны, все больше горело зданий, и дымились развалины, и костры из мусора горели по пустырям. На заколоченных домах желтели объявления: НЕ ПОДХОДИТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА БОСТОНА, НАРУШИТЕЛЬ ОТВЕТИТ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА. К западу от Сколли-сквер отсутствовали уже целые кварталы, и стало видно небо, много неба, и по ночам плакали звезды. Соседи – Кон и Джордж и много еще всяких, даже имен не знаю, толпились возле прилавка, пили кофе, пожимали плечами, причитали. Кон сказал: «Будто бы в гребаной России живешь, твою

⁷⁴ Фешенебельный район Бостона.

мать», и все согласились, и качались головы, потом кто-то сказал: «Против городской власти не попрешь, и ничего тут не попишешь», и снова качались головы. Джордж сказал, что раз все равно дела не исправишь, так нечего и душу надрывать, и с этим суждением тоже все дружно согласились. А потом заговорили про сердечный приступ Берни Аккермана, потом перешли к язвам, и тут Шайн, некоторое время не произносивший ни единого слова, вдруг сказал – таким тихим голосом, что все прислушались.

– Ну я-то уж, черт побери, кое-что сделаю, – он сказал. – Уж я-то не собираюсь мирно протирать задницу до тех пор, пока меня вместе с мебелью отсюда не поволокут.

Все, конечно, стали приставать, расспрашивать, что же такое он затеял, но он ничего не стал объяснять. Сказал только:

– Ну так, кое-что. – А потом еще сказал: – Увидите.



А я, между прочим, прекрасно знал, какие шишки, свидетельствующие о разрушительных инстинктах и скрытности, Шайн прятал у себя на висках, и я давно уже вышел из своей стадии буржуазности, а потому, несмотря на прочное отвращение к его личности, я не на шутку разволновался из-за этих последних слов Шайна. Одно я знал твердо: Норман Шайн никого не боится. Напрашивались мысли о баррикадах, о перевернутых пылающих автомобилях в узких проулках, о коктейлях Молотова.⁷⁵ Или о великом нравственном противостоянии, как у негров Юга – в «Глоуб» про них читал, – или о ненасильственном сидении перед магазином – Шайн, Кон, Варадьян сидят посреди улицы, фифочки в клетчатых юбках и свитерочках таскают им бутерброды, куча репортеров, общественное сочувствие льется рекой, разъяренный мэр. Все опять невпопад. Через несколько дней после того, как объявил, что сделает кое-что, Шайн поместил в витрине большое, от руки написанное объявление:

БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ВСЕ, ЧТО СМОЖЕТЕ УНЕСТИ ЗА ПЯТЬ МИНУТ.

Так вот что он называл – кое-что сделать! Взять и раздать все свои книги – да, это был акт такой удалой щедрости, свидетельство такого окончательного, роскошного отчаяния, что я чуть было снова в него не влюбился. Бесплатные книги, как после революции. Эх, жаль Джерри не дожил! Объявление тотчас возымело действие – поразительно, какую бешеную энергию высвобождает в людях халява – и в следующие пять дней творилось прямо черт-те что. После того как «Глоуб» поместил соответственную заметку, такое множество народу рвануло в свой пятиминутный рейд на книжный магазин, что пришлось прибегнуть к услугам конной полиции, чтобы следить за толпой, которая в одном месте забила весь Корнхилл и свернула за угол. Являлись снаряженные бумажными пакетами, рюкзаками, картонными коробками, чемоданами даже и загружались. Кое-кто сгоряча нахапывал такого, что ему совершенно не ко двору, и вечером, после закрытия, всю улицу усеивали отверженные книги. Шайн выходил с бумажной сумкой, все книги подбирал, те, что кое-как сохранили товарный вид, снова ставил на полку, до завтрашнего нашествия, остальные выбрасывал. Сперва это мне щекотало нервы, потом мне стало грустно. Грустно ходить ночью по магазину, где прошла вся твоя жизнь, по своему родному дому в сущности, и видеть эти пустые полки. Особенно одолела меня хандра в то воскресенье, когда шел дождь. Я спустился, уселся на красную подушечку, я смотрел в окно и видел, как по немытому

⁷⁵ Так назывались бутылки с горючей смесью, которые советские пехотинцы бросали в немецкие танки во время Отечественной войны.

стеклу дождь течет мутными ручьями. И, подперев лапой щеку, я думал про французского поэта Верлена, который написал прославленное стихотворение насчет дождя и хандры. Идет дождь, а хандра явилась неведомо откуда, говорится в стихотворении, идет дождь, и под его шорох плачет душа.⁷⁶ О, как я его понимаю, хотя то – Париж, Франция, а тут Сколли-сквер, Бостон. Вот когда мне особенно не хватало Нормана. Не хватало наших бесед за чашечкой кофе – мои ноги, в мягких мокасинах с кисточками, задраны к нему на стол, и так уютно, так тепло в светлом магазине, когда за окном шуршит дождь. Или я его приглашаю в гости, и мы обсуждаем казус Шайна, его взлеты, его падения, но это все-таки не то, не то, не так, как бывало, когда я считал, я верил, что он на самом деле существует.

Я взял манеру чуть ли не по целым дням валяться навзничь, задрав все четыре ноги, мечтать и вспоминать, или я мечтал и вспоминал, играя на рояле, и я заметил, что со временем мечты мои стали меняться. Стали нежными и ностальгическими, с каким-то сумеречным свечением по краям, и теперь больше не бывало у меня в мечтах такого множества чудесных приключений. Я мучительно скучал по прошлому, даже по трагическим его эпизодам. Я ничего не забыл из того, что со мною случилось, и даже из того, что прочитал, я почти ничего не забыл, так что со временем во мне скопилась дикая бездна воспоминаний. Мозг мой стал как гигантский склад, – где можно заблудиться, забыть о времени, заглядывая в ящики, коробки, пробираясь по колена в пыли, по многу дней не находя выхода. С тех пор как переселился к Джерри, я начал играть прошлым, толочь, месить, мять и менять его и так и сяк для нужд правдоподобия, и вот тогда-то я стал взбалтывать воспоминания с мечтами вместе. Конечно, я зря это затеял, потому что, чем больше я так играл воспоминаниями и мечтами, тем больше они стали смахивать друг на друга, и скоро я уж и сам не мог с уверенностью различить, что со мной было на самом деле, а что я намечтал. Я, например, уже не мог точно сказать, какой из теснящихся в моем мозгу персонажей моя подлинная Мама – та толстая, жадная, или та тонкая, усталая, нежная, и зовут ли ее Фло, или Диди, или Гвендолен. Все архивы сохранились исключительно у меня в голове. Никаких тебе внешних, сторонних свидетельств, ни дневника, ни старинного друга дома. Как уточнить? Проверить? Я только и мог, что сопоставлять одно мое умственное построение с другим, и, равно недостоверные оба, они в конце концов смешивались, блекли, сливались. Мой ум стал лабиринтом, то манящим, то пугающим, смотря по настроению. Я терял под собой опору, и, как ни странно, мне на это было глубоко плевать.



Конец быстро надвигался. Корабль шел ко дну, и уже через неделю после того, как Шайн сбросил за борт лишний груз, сгорел «Старый Говард». Когда-то, давным-давно, это был театр, знаменитый на всю Америку. Да, проходил, проходил, бывало, мимо темной, покинутой громады на пути к «Риальто». Фасад серого камня, огромные готические окна – все это было очень даже похоже на храм, если бы не нависающее над улицей лампочками

⁷⁶ Первые две строфы стихотворения Поля Верлена «Хандра», о которых размышляет Фирмин, в гениальном переводе Б. Пастернака звучат так: И в сердце растрата,/ И дождик с утра. /Откуда бы, право, /Такая хандра? /О дождик желанный, /Твой шорох – предлог /Душе бесталанной /Всплакнуть под шумок.

выведенное большущее – СТАРЫЙ ГОВАРД. Все думал: вот включат эти лампочки – нет, не включили. А на храм здание походило неспроста – его именно что для этих нужд и построили миллериты, церковная секта, приверженцы которой считали, что мир семимильными шагами идет к концу.⁷⁷ Конечно, насчет этого они, в общем, были правы. Но с помощью Библии и кучи сомнительных вычислений они пришли к выводу, что конец света наступит точнехонько 22 октября 1844 года.⁷⁸ Готовясь к такому событию, тысячи истинно верующих до нитки распродали свое имущество и построили огромную крепость, она же храм, чтобы, пока суд да дело, было где перекантоваться. Приятно читать про этих людей – обожаю. Прямо я сам, ну вылитый – так все время таскать на себе эту тяжесть, это всепоглощающее предчувствие катастрофы. Когда 23 октября, как всегда, в свой черед встало солнце, они, естественно, безумно расстроились. Храм свой они продали, и даже не знаю, что с ними случилось дальше. Воображаю, как им после всего этого небо с овчинку показалось: такая смертная скука. Церковь превратилась в театр – там Эдвин Бут⁷⁹ играл, потом в оперетку и наконец в стриптиз-клуб. В 1955 году, все еще задолго до моего времени, городские власти прикрыли его навсегда. Объявили, что там творятся похабство и аморальщина. Особенно доставала их Салли Киф со своими кисточками на грудях и на заднице, которыми она умела в разные стороны вертеть, как аэроплан пропеллерами. Жалко, я не видел! А потом «Старый Говард» стал просто крысиным домом. Там пристроилась добрая половина всех крыс со Сколли-сквер.

Но теперь-то конец света и впрямь настал, а заодно и конец «Старого Говарда». Я был на Воздушном Шаре, когда он горел. Из всех магазинов кинулись смотреть на огонь. Даже Шайн вышел, прямо подпрыгнул и выскочил и дверь за собою запер. День был в самом разгаре, а он даже не повесил свою табличку: «Скоро вернусь». Не пойми я всего уже раньше, один этот штрих мне бы подсказал, что он рукой махнул на книжный бизнес. Как, впрочем, и я. Сирены взывали, стихали, ближе, дальше, и так целый день и весь вечер, и когда я ночью вышел на улицу, там стояли только пустые стены, дымящиеся руины, и вся улица была в золе и грязи. Кое-кто еще бродил по грязи, и были в руках плакаты: СПАСЕМ «СТАРЫЙ ГОВАРД», СОХРАНИМ НАШЕ НАСЛЕДИЕ. Никогда я не замечал в «Старом Говарде» чего-то такого, что вот особенно хотелось бы сохранить, и мне было с высокой горы плевать на обживших его плебейских, вульгарных крыс. Туда и дорога – я думал. На заре еще дымились руины, и тогда привезли тот огромный кран. Кран был с гигантским железным ядром на стальном тросе, и, когда кран отводил стрелу, ядро раскачивалось, раскачивалось, дальше, выше, выше, и, до отказа отведя его назад и вверх, размахнувшись, кран вдруг подавался вперед и со всех сил шарахал по «Старому Говарду». Стены у «Старого Говарда» и в самом деле были, наверно, крепкие, потому что этим устройством (копер называется) их так и не удалось сокрушить. И тогда послали за саперами, те подложили под стены динамит и взорвали. Три раза это повторялось, и каждый раз рушилось по одной стене, и пыль и зола длинной волной накрывали улицу, делая грязные здания еще грязней.

На другое утро генерал Лог дал сигнал, и ряды тяжелой техники пошли в последнюю атаку на Сколли-сквер, сжевывая его по краям, одним кусом сжирая по зданию. Шли в ход и копры, те краны с крушащими ядрами, и еще были огромные бульдозеры, и люди в шлемах,

⁷⁷ Миллериты, они же адвентисты, – последователи Уильяма Миллера (1772–1849). Изучая Библию, Миллер нашел в ней доказательства близкого конца света и Второго Пришествия Христа и в связи с этими выводами в 1833 г. основал свою секту.

⁷⁸ Для этих в самом деле довольно рискованных вычислений использовалась книга Пророка Даниила, гл. 8.

⁷⁹ Бут, Эдвин Томас (1833–1893) – знаменитый американский трагический актер, известный и в Европе; им переиграны многие шекспировские роли: Гамлет, Король Лир, Отелло, Ричард III, Шейлок, Макбет.

защитных очках там сидели в стальных клетках. Каждый раз, как наострялись крушить здание, работнички гикали, ухали, а потом они грузили обломки на громадные грузовики и увозили куда-то. И так – неделя за неделей. Дым, пыль, грохот машин, вой сирен густо застлали улицы, и то и дело гремело, и сыпались осколки – это был динамит.

Что до крыс – для них вообще что мир, что война, – одно и то же, и в большинстве своем они, как могли, жили себе дальше. Обыкновенная средняя крыса не видит особой разницы между стоящим зданием и грудой обломков, разве что среди обломков прятаться удобней. Упадет дом, и крысы ретируются к остаткам подвала, к разбитым водосточкам, к щелям среди камней. «Глоуб» поместил записку об этих крысах в руинах, и тут же генерал

Лог отправил отряды в белом прикончить их отравляющим газом, закачав его в щебень насосами. Вот когда начался настоящий исход. Что ни ночь, я их видел: шли прочь, прочь, долгой чередой, иногда целыми семьями. Статья в «Глоуб» была озаглавлена:

РАЗРУШЕНИЕ ОБНАРУЖИЛО ЦЕЛЫЙ КРЫСИНЫЙ НАРОД. Всю нашу округу статья называла дрянной и кишащей крысами.

Интересное слово – кишеть. Люди порядочные не кишат, не могут кишеть, и всё тут, при всем желании не могут, хоть лопни, хоть тресни. Никто не кишит, кроме блох, крыс и евреев. Если вы кишите – значит, так вам и надо. Как-то беседовал я с одним мужиком в баре, и вдруг он меня спрашивает: «А что вы в жизни поделываете?» Я ему говорю: «Я кишу». По-моему, очень иронично и тонко, но он не понял. Подумал, что я сказал «пишу», и давай расспрашивать, где печатаюсь, и какие гонорары, может, телефончик подкину, и совета просил. Ну, посоветовал я ему, пусть мемуары пишет. Говноед.



А потом закрыли «Риальто». Подхожу как-то ночью, а там темно. Прощайте, Прелестницы, прощай, попкорн. Оставалось побираться, нищенствовать, рыться в развалинах, как другие, и стали мне попадаться мертвые крысы, иной раз прямо посреди тротуара. Еды стало мало, в основном отбросы после обедов рабочих, и вот тут начались ужасы. Иные из голодающих крыс сжирали трупы своих собратьев – шакалы! Мне стыдно было за них, и в то же время мне было стыдно за то, что мне стыдно. Даже во цвете лет я не отличался силой и ловкостью. А теперь я хромал и – увы! – молодость моя миновала. Я постоянно ходил голодный. Когда начну трупы есть? Или, парализованный чересчур человеческой щепетильностью, так и останусь выродком до конца? Ночью по водосточкам сплоченными рядами сплошь убегали крысы. По-моему, я видел двух своих братьев, но кто его знает? Мы сто лет не видались, а крысы все на одно лицо. Бывало, в своих блужданиях вдруг вижу: дом еще стоит, а фасад снесен, и, распахнутые, висят целые комнаты, иногда с мебелью, и бежит себе весело по стенам рисунок обоев, и в ваннх, честь честью, толчки и раковины. И рядом, глядишь, такой же стоит. Громадные кукольные дома.

В одно прекрасное утро Шайн пришел в магазин с двумя какими-то в комбинезонах. Эти, в комбинезонах, взяли письменный стол и кресло, книжные полки, какие не прикреплены к стенам, все это побросали в большущий грузовик под названием «Мэйфлауер»,⁸⁰ и укатили. Шайн потом немного побродил по магазину. На сей раз он не плакал. На полу еще валялись кой-какие книги, он на них наступал, пинал ботинком. Потом вышел, запер за собой дверь. Я смотрел – вот бросил ключ в карман пальто и зашагал прочь по улице. Больше я его никогда не видел.

⁸⁰ Как тот корабль, на котором пересекли Атлантику первые переселенцы (так называемые «пилигримы») из Старого Света.

Глава 15



На этом этапе я еще всерьез собирался последовать примеру Шайна и сотен моих собратьев. Да, пора, пора, я думал, рвать когти. Может, попробую, думал, подыскать другой какой-нибудь книжный, пусть хоть в Кембридже, за рекой, а может, подамся в Городской парк, кого-нибудь из Джерриных дружков подцеплю. Но что-то такое, сам даже себе не могу объяснить, летаргия, оцепенение, что ли, удерживало меня от необходимого шага, и со дня на день я его откладывал. Кое-какую жратву я еще наскребал на улицах: с голоду не подохнешь, но и не наешься досыта. Разрушение добралось уже до Брэттл-стрит, и того гляди грозило обрушиться на Корнхилл. Я устал, я состарился. Крысиная жизнь коротка и тягостна, тягостна, но быстро кончается, однако куда тянется, она кажется длинной. Целыми днями, если только не подбирал остатные объедки на улице, я бродил по пустому магазину. И почитать-то было нечего, ничего не осталось, кроме нудных религиозных трактатов, – вот что приходилось читать.

Позавчера утром дождь лил как из ведра, смывая с груд щебня пыль и труху и пуская мутные реки по улицам. На полу «Книг Пемброка», в тенях дождевых капель, валялись оглодки последних нескольких ужинов, которые я натаскал с улицы, жалкие огрызки и крохи вперемешку со всякой чушью, требуха и отходы крысей жизни – клочок грязной обертки, замызганный ободок ветчины, скорлупки арахиса, горбушка пиццы. На улице из-за дождя перестали работать, затих рев машин, только дождь и ревел, в одиночку. Я был до предела издерган, меня давила тоска, и все утро я маялся, я метался туда-сюда по магазину, туда-сюда. Дождь все не стихал, скоро день совершенно померк, и я решил подняться наверх, поиграть на рояле. Подъем на Лифте мне стоил больших трудов, в тишине я слышал, как дышу громко, с присвистом.

Свет был совсем другой в комнате. Я это мигом заметил, едва просунул нос в дыру. Дождя не было, в открытое окно лилось щедрое солнце. Мебель вернулась, они здесь снова стояли как миленькие – кровать, стол с эмалевой столешницей, старый Стэнли, книжные полки, и на них книжечки, книжечки, все до единой. Дверь кладовки была приоткрыта, я заметил, что снова там полно баракла. Ржавый мусорный бак тоже был тут как тут и мой рояль со всеми своими царапинками и щербинками. Джерри, я подумал, сейчас Джерри придет домой. Я сформулировал ВОСКРЕСЕНИЕ – да так и оставил сиять. Я сел за рояль и начал импровизировать, так просто, чтоб размять мои старые пальцы, в ожидании шагов на лестнице; потом перешел к Колу Портеру, кое-что исполнил из «Канкана», из «Целуй меня, Кэт». И скоро мне уже показалось, что лучше быть Колом Портером, чем самим Господом Богом. Потом я переключился на Гершвина – «Я поймал ритм», и скоро я его в самом деле поймал, я увлекся, рояль буквально ходуном ходил, а я подпрыгивал на стульчике, я пел громко-громко, во весь голос. Я тонул в музыке, голова шла кругом от толпящихся в ней картин, но сквозь все это, сквозь все это я чувствовал: кто-то вошел в комнату, очень тихо вошел, и сейчас сидит у меня за спиной на постели. Я чувствовал: меня слушают. Джерри – я

думал. Я продолжал петь, и, продолжая петь, я медленно повернул голову и посмотрел.

Раньше я никогда не видел ее в цвете и сперва не узнал. Она сидела на постели, сложив на коленях руки, посверкивая перстнями. В том же самом черном платье, которое было на ней в «Ритме свинга».⁸¹ Как же она мне там нравилась, как же это черное платье вспыхивало, вскипало, бурлило, кружило и взвинчивалось до самых ляжек. Платье-то мне и подсказало, что это она. Настолько она изменилась. Голос один и не изменился. «Шикарно, – она сказала, – давай-давай, валяй, продолжай». И я продолжал. Исполнил снова всю вещь, на сей раз с собственными вариациями, а потом я встал и поклонился. Я изобразил «Наше вам с кисточкой», и ясно было, что она поняла. Она расхохоталась, и это совсем не то, не то, что ваш хохот. Она все еще была хороша, хоть я замечал, что тяжелое что-то – годы? горе? – тонкими ниточками легло поперек ее шеи, сморщило кожу у глаз. Глаза были синие.

Я подошел к окну. Снаружи было темно. Она тоже подошла, встала сзади. Я чувствовал: она на меня смотрит. И черное платье, я чувствовал, темной тучей стояло за мной. Я чувствовал, что я высокий.

Из окна я видел просторное поле обломков, как на фотографиях Хиросимы, и оно тянулось до самого горизонта. Вот не думал, что разрушение зайдет так далеко; кажется, ничего подобного не замышлялось. После улицы, пробежавшей у меня под окном, там, где она слепо тыкалась в небо, лежала бугристая голая степь. Она образовалась на месте домов – когда их разрушили, превратили в битые окна, двери, ступени, доски, кирпичи, дверные ручки, а все это в свою очередь перемололи на такие ничтожные части, что им и названия нет, а потом раскидали, раскатали, сбили, смешали, и ничего не осталось, ничего, только пустота, только пыль, пыль, и посреди всего этого стоял Казино-театр. Он был залит светом, а по бокам видны шрамы, там, где от него отдирали по живому прилегающие дома. Улицы не было – дом был без адреса. Я дал ему название – Последнее, что еще стоит. У кассы, по обе стороны, были два ангела, те самые, которых я видел в ту ночь, когда Мама наконец собралась учить жизни нас с Лювенной. И все те же были черные прямоугольники у них на груди и под животом, и каждый ангел легонько приподнимал одну ножку, как в танце. Музыка, жиденькая, жестяная, как из музыкальной шкатулки, выходила из этого дома и летала над грудями щебня. Невозможно грустная музыка – прилипчивая, неотвязная грусть старого цирка на грани банкротства. Весь театр был озарен, а по маркизе сплошь, без единого прогала, бежали белые лампочки, сливаясь в слова: ЕЩЕ ОДНА ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА, а пониже: ВСЕ БИЛЕТЫ ЗА ПОЛЦЕНЫ.



К билетной кассе выстроилась очередь, по трое-четверо плечом к плечу, и длинная шеренга змеилась среди развалин. Шли и шли, поодиночке, парами, со всех сторон все новые выныривали из темноты. Шли с узлами и с чемоданами, там и сям кто-то, смотришь, вел за ручку ребенка. Радовались, близясь к зоне света вокруг театра, но не ускоряли шаг, не припускали бегом, и никто не говорил, не кричал, совершенно бесшумная очередь, разве что

⁸¹ Фильм 1936 г. американского режиссера Джоржа Стивенса (1904–1975). Как и во многих других лентах, Джинджер Робертс там танцует с Фредом Астером.

изредка, может быть, слышалось оханье, скрип, стон и тотчас тонул в музыке, пусть жестяной, но всё музыке. Сотни и сотни людей в очереди молча шаркали между ангелами, и каждый ангел слегка приподнимал одну ножку, как в танце. Я поместил надпись БЕЖЕНЦЫ под этой картиной. И я думал: вот бы Джерри удовольствие получил.

Джинджер стояла у меня за спиной. Я гадал, видно ли ей все это, и вдруг она сказала:

– Там я работаю. Каждую ночь я снимаю с себя все до нитки, номер называется «Танец в конце света». Они буквально балдеют.

Я подумал: ты, выходит, стриптизершей работаешь.

– Это только ночная работа.

Ты, выходит, можешь читать мои мысли.

– Твои мысли – не только твои мысли, это твои верования, твои мечты.

Да ни во что я не верю.

– Ты веришь, что ты крыса.

Вдруг музыка стала громче, громче, взвилась, разлилась, раскаталась свингом на сплошных духовых.

– На, это тебе. – И она мне вручила пачку попкорна. Пачка красная с белым, и на ней нарисован клоун, а из колпака у него бьет фонтаном попкорн.

И вот, посреди старой Джерриной комнаты, она начинает танцевать. Никогда я не видел, чтобы она так танцевала, разве что у меня в мечтах. Танец плавный, какой Прелестницы за полночь танцевали в «Риальто», и то же подергивание, вихляние, так же колышутся в такт музыке бедра – медленно, сильно. Я забираюсь в кресло со своим попкорном, и я смотрю. Она вышагивает из платья, поддевает его носком туфельки и запускает с размаху в угол. Под платьем на ней – ничего. Танцует голая. Нежит черный мех – крысиное гнездо – между ног. Веки опущены, приоткрыты губы. Никогда я толком не мог понять этого выражения лица у людей, хоть и могу догадаться, что оно у них означает особую степень разнеженности. Вот когда я пожалел, что у нас нет ковра: она могла бы и ту часть представления исполнить. А потом она меня подхватывает, мы танцуем вдвоем. Она танцует, я парю. Она меня держит между грудей. Утыкаюсь в ее запах; как в мокрое кресло. Качаемся, кружим. Летим. А потом стены расступаются, как декорации; мы танцуем на белом огромном просторе. Я закрываю глаза, я вижу, как мы летим высоко над городом, и все задирают головы, смотрят вверх, тычут пальцами. Никогда не видывали подобного: голый ангел несет в объятиях крысу. Долго мы так танцевали, мы танцевали быстрее, быстрее, и музыка делалась громче, громче, и было безумие в этой музыке, и была ярость. И вдруг музыка смолкла. Грянула тишина, встали на место стены. Джинджер упала ничком на кровать. Хохоча, все еще прижимая меня к себе. Грудь у нее ходуном ходила. Потом пальцы у нее расслабились; я глянул – глаза закрыты. Я высвободился, подполз к лицу, внюхиваясь в шею, ловя запах дыхания. Капли пота алмазами блестели над верхней губой, я выпил все, одну за другой. Они были соленые. Из книг я узнал, что такой же вкус и у слез.

Села, отшвырнула меня на кровать.

– Пора, – сказала. Прошла в тот угол, куда запустила своим платьем. Нагнулась, и вдруг вижу: сует ноги в черные брюки.

Но куда подевалось платье?

Не отвечает. Вслед за черными брюками надевает белую блузку, потом деловой черный пиджак – в пару к брюкам. Собирается уходить. Будь я человеком, я бы ползал у этих ног, обнимал эти колени и плакал. Не хочу, не хочу, не хочу, чтоб она ушла.

Не уходи.

Лицо отвердело.

– Что за чушь, Фирмин. Конец есть конец.

Нет, так я же тебя заставлю остаться. Смотри.

Я исполняю для нее все свои фокусы. Я уже не могу кувыркаться – из-за хромоты, по старости, из-за тяжелой моей головы, как ни стараюсь, каждый раз плюхаюсь на спину, но это ничего, в итоге все равно выходит смешно. Потом я подхожу к книге и делаю вид, что

читаю. Она хохочет. Но все-таки собирается уходить. Я вижу, как встает за окном рассвет.

– В Казино работа ночная. Днем я на город работаю.

Ты работаешь *на них*? Джинджер, ну зачем? Ведь это враги.

– У каждого по две работы, Фирмин, дневная работа и ночная работа, потому что у каждого по две стороны, темная сторона и светлая сторона. У меня, у них, у тебя. Тут уж никуда ты не денешься.

Потом я замечаю на металлическом столе огромный портфель. Она его открывает, роется в пачке официального вида бумаг, вытаскивает наконец одну и протягивает мне:

– Каждый сам себе враг, Фирмин, отныне ты должен знать.

Кладет эту бумагу передо мной на полу. Наступаю на нее, читаю: УВЕДОМЛЕНИЕ О
ВЫСЕЛЕНИИ.

Пробегаю всю страницу до заключительного абзаца. «В соответствии с вышеизложенным Крыса Фирмин, нарушитель порядка, бродяга, жопа, педант, глодатель и пожиратель книг, нелепый мечтатель, врун, трепло, извращенец, выселяется с этой планеты».

И подпись лично самого генерала Лога.

– Ты зачем мне это дала? Тут уведомление о выселении.

– Или приглашение. Уж тебе решать.

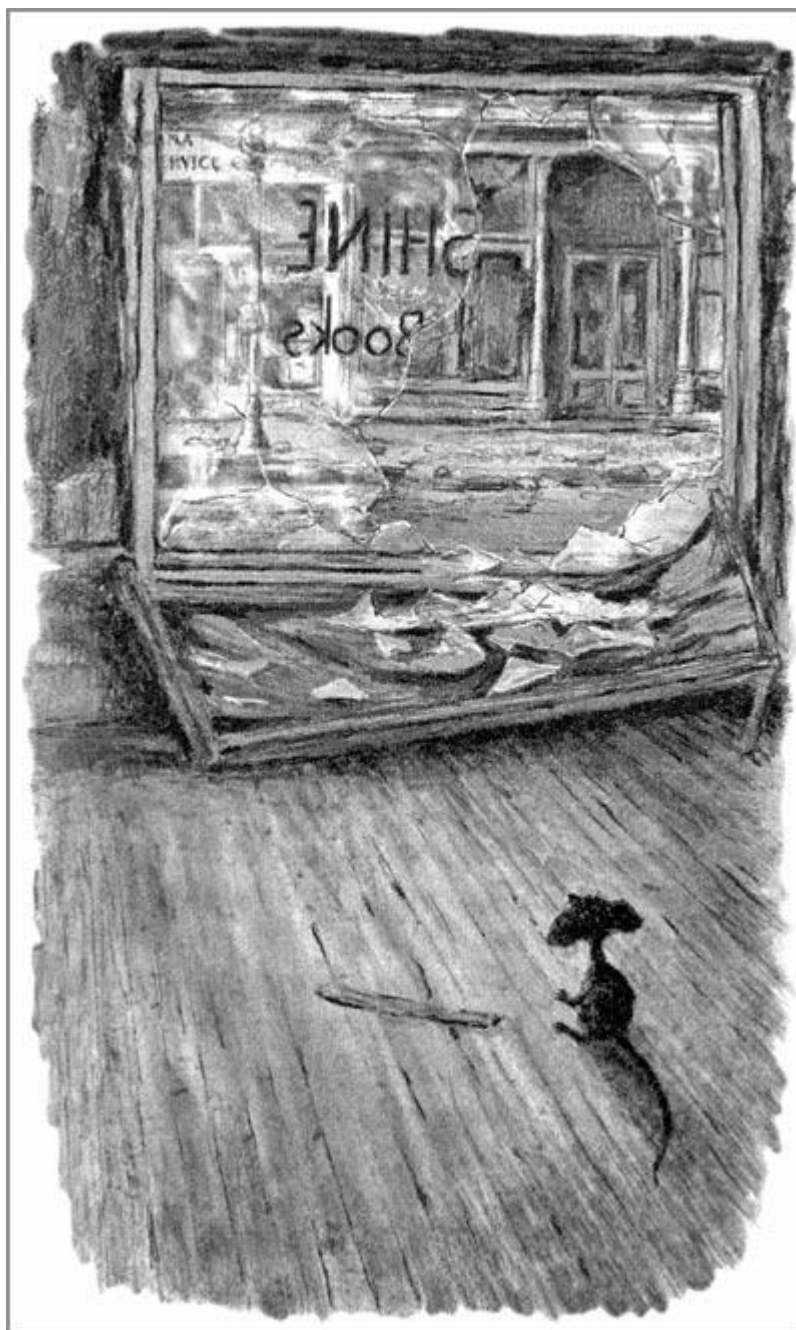
Она ушла, медленно, плотно прикрыв за собою дверь. Я услышал острое щелканье замка, потом долгое нисходящее щелканье ее каблучков по ступеням. Потом был круглый, пологий звук – открылась дверь подъезда, и сразу грянул грохот, громче, громче, это, щелкая гусеницами, полз по Корнхиллу бульдозер.

Я залез на кресло, растянулся навзничь, задрал все четыре лапы. Закрыв глаза. Я не просто закрыл глаза, я зажмурился. Вытащил свой маленький телескоп, стал высматривать Маму. Начал рассказывать историю своей жизни. Начиналась она так: «Это самая печальная история из всех, какие я слыхивал». Все утро я так пролежал, и фразы шли и шли – караваны пустыни, навьюченные драгоценными образами. Ах да, надо ж придумать название? Но история все время перепутывалась с водой. Сперва стаканы с водой выскакивали, где не надо, потом ведра с водой, а потом уж потекли ручьи, целые реки, хлынули потоки, и в них тонули бедные опрокинутые верблюды, сучили шишковатыми ногами, и горбы утягивали их на дно. Смертельно хотелось пить. Наверно, от соленого пота, которого я нахлебался, но я найду воду, найду. Я выбрался из кресла, на котором с удовольствием провел бы остаток жизни, будь в нем вода, и спустился на Лифте вниз. Я оказался слабей, чем предполагал.

Несколько раз чуть не скувырнулся. Стало страшно, что мне не взобраться обратно.

Вышел у магазина. Витрина разбита вдребезги, дождь налил лужицу в углу подоконника. Выпил все до последней капли, потом вылизал осколки. Потом забился в тот угол, где раньше стояла касса, и там заснул. Впервые за несколько недель мне ничего не снилось. К вечеру меня разбудил ужасный удар, потом градом хлынула штукатурка, вихрем взвилась пыль. Снова я открыл глаза. В стене над моей головой открылась узкая щель. Сунул туда голову, посмотреть, что случилось с нашей улицей. Из плотного ряда домов напротив по нашей улице почти ни единый не уцелел, вместо домов высились горы щебня. Громадный желтый механизм, заляпанный грязью, урча, крался, как динозавр по каньону. И имя ему Катерпиллар.⁸² Я видел, как он разинул огромную пасть, стал сжевывать бетонный столб, прежде поддерживавший тыльную стену «Пива и Эля» Додсона, и из пасти вываливались пласты и куски, как рисинки изо рта у ребенка. «Окно в конец света». Через несколько минут я отвернулся. Всю свою жизнь смотрел на мир сквозь щели – надоело, осатанело, хватит уже.

⁸² Буквально «Гусеница» – машиностроительная корпорация, производящая землеройное оборудование.



Но, едва я отвернулся от этой щели с видом на гибнущий мир, я оказался лицом к лицу с другой, на сей раз щелью во времени. Воспоминания в нее хлынули океаном.

И снова хотелось пить. Я спустился в подвал, в виде исключения используя для этой цели лестницу, – глянуть, не осталось ли немного воды в толчке. Я стоял уже на последней ступеньке, и тут весь дом затрясло, встряхнуло. Бетонный пол заходил у меня под ногами. Потолочный фосфоресцирующий свет, который мерцал и жужжал для меня в вышине, пока я – так давно, так недавно, – жуя и читая, к иному свету прокладывал путь, уже не одну неделю как отмерцал свое. И висел теперь громадной черной сосулькой, раскачиваясь и дрожа в такт волнам разрушения, рокошущим над Корнхиллом. Я прошел под этой громадной сосулькой, и буквально в следующий миг она грянулась об пол у меня за спиной. Гнутые матовые осколки сухим дождем летали по комнате, падали на голову. Крысиные ноги на битом стекле – без звука, без смысла. Дверь под СОРТИРОМ была открыта, надвое расколотый толчок лежал на полу. Права была Джинджер: конец есть конец. Ах, мой маленький рояль наверху, как же он хрястнет, бедный, под рухнувшей балкой. Но ничего, ничего не поделаешь, поздно, его невозможно спасти. Упадет на него первая балка, и он издаст тоненькую, ему одному присущую последнюю нотку, и никто-то ее не услышит,

никто. Ах, да не взобраться ли на гигантский кукольный дом, взять и броситься вниз, – но разве хватит моего веса для такого самоубийства, нет же, медленно, тихо паря, сухим листом приземлюсь на панели. Я потому только так подробно расписываю свои эти мысли, что именно они проносились у меня в голове, когда я увидел ту книгу. Лежала, зажата под батареей, только высунув краешек. Я мигом ее узнал, подошел, потянул. Я сразу узнал отметины моих младенческих зубов на переплете, и кое-какие выдранные страницы, служившие Фло опорой при изготовлении того конфетти, хранили отпечатки ее грязных лап.

Сомнений не оставалось.

Немало времени и все мои последние силы ушли на то, чтобы переволочить книгу от батареи к тому, что осталось от нашего гнезда в углу: к нескольким горсткам конфетти, уже совершенно выдохшимся, потерявшим наш запах. Зато здесь я почти избавился от звуков наружного мира. Уже нет рева грузовиков – это ветер поет, гуляя над полем и лесом. Уже нет грохота крушающихся стен – это бьется о черные скалы море. А взвои сирен и взвизги автомобильных рожков стали печальными криками чаек. Да, пора, брат, пора. Джерри говаривал, что если не хочешь прожить жизнь сначала, значит, зря ее прожил. Не знаю. Я считаю, конечно, что с моей жизнью мне повезло, но почему-то не хочется, чтобы так повезло дважды. Я вырвал листок из книги, с конца, сложил, потом снова сложил. Получился такой пакетик. Я поудобней устроился в конфетти и, придерживая пакетик передними лапами, стал читать то, что оказалось наверху, и, как трубы, зазвенели мне в уши слова: «Давай, эй! Эй, давай! Лязг ли кликов не в лад, эх, укрепнем, рванем на волю». Я еще поворочался в своем гнездышке. Развернул свой пакетик, и опять развернул, и опять, и снова он стал страницей, страницей одной книги, книги одного человека. Я поаккуратней ее разглядел, и я прочитал: «И я не наглажусь, и я ненавижу. Одинокость в очах ночей. Что мне потроха их греха! Ухожу. О горький конец! Не увидят. Никто. Не узнают. Не затоскуют. И это старо и печально, это печально и выцвело». Я смотрел на эти слова, и они не туманились, не расплывались. У крыс не бывает слез. Сух и холоден мир, и прекрасны слова. Слова прощания и прощения, прощания и привета – от маленького Великому. Я снова сложил страницу, и я ее съел.

Примечание автора

Сколли-сквер в самом деле существовала, ее разрушение в самом деле имело место. Тем не менее «Фирмин» – произведение вымышленное. Я порой подтасовывал – или Фирмину попускал подтасовывать – события, географию ради нужд повествования. Например, хотя Эдвард Лог, руководивший «обновлением» Сколли-сквер, действительно летал во время войны на бомбардировщике, у него, насколько мне известно, никогда не было прозвища Бомбардир, и уж тем более я не допускаю, чтоб он включал фотографии Штутгарта и Дрездена в свои доклады. И хотя исконную скинию миллеритов и впрямь превратили в театр, здание это сгорело еще в 1846 году; а театр «Старый Говард», тот, очевидно, какой был знаком Фирмину, построили уже вместо него. И хоть «Риальто» в самом деле существовал и в самом деле был известен под прозвищем Почесушник, не думаю, чтобы там демонстрировались порнографические фильмы после полуночи. Я премного обязан труду Дэвида Кру «Вечно в действии: постыдная Сколли-сквер города Бостона», откуда мной почерпнуты многие ценные сведения об истории всей этой округи, хотя мистер Кру, разумеется, отнюдь не несет ответственности за все мои неточности или огрехи. И наконец, мне хотелось бы с глубокой признательностью помянуть покойного Джорджа Глосса, владельца книжного магазина «Браттл Букс» на старой Сколли-сквер, который за сущий бесценок мне продал тома, которые по сей день берегу, у которого едва ли был сейф, набитый запретной литературой, и который перед лицом разрушения своего магазина в самом деле даром пораздавал все книги, какие только можно унести за пять минут.

NEW today's dominance

GRAND

the (Dem) side... sider
sed a trade... with t
it remains to be seen...
rove it. Bill Clinton cut a deal v
to pay America's arrears to the
tion, but the payment was gnu
United Nations widely derided
Clinton made only a desultory

AMERICAN CEN-
can one. At its
er. Although
Spain, from
1898,

prevail in the century's gr
these progressively dimin
vils. World War I effectively
World War II did the same
the cold war left Russia
moment, there are no n
... superiority, C